

Елена КРЮКОВА

г. Нижний Новгород



Окончание. Начало в № 5-6, 2024.

ФРЕСКА ТРЕТЬЯ. ВОСТОЧНАЯ СТЕНА

АЛЕКСЕЙ

В день её родов я проснулся рано. Декабрь стоял сумасшедший. Мороз звенел, губя всё живое окрест. Птицы замерзали на лету и падали на землю ледяными комочками. Чайки зимовали стаями, на скалах, жались друг к дружке. Люди, как чайки, жались друг к другу в бараках. Умирали один за другим. То и дело из бараков выносили мертвецов. Снега белой толщей укрыли округу. Мёртвых на салазках отвозили за бараки и там складывали в снег, и забрасывали снегом. Так они будут лежать до весны. Покоиться в безмолвной царской белизне.

Я спрашивал одного, другого: идёт ли война? Да, идёт, мне отвечали. Идёт война, идёт и жизнь, думал я обречённо и отрешённо. Затемно проснулся я в бараке. Ходил между спящих, плотно прижавшихся друг к другу. Узрел трёх упокоившихся. Прижимал пальцы к их шеям, искал лепет сонной артерии; щупал запястья. Да, эти трое опочили. Хоронить будут в снегу. Как всегда зимой.

Я хотел было идти в лазарет, да кинул взгляд на Душу мою. Она нынче ночью не задыхалась. Спокойно спала. Шуба её расстегнулась, полы расплзлись в разные стороны, и из-под кудрявой лохматой шерсти выглядывала планета живота. Я увидел, что живот растревожился. Вспучивался и проваливался. Опадал. Потом опять поднимался. Ходил волнами. Морем.

Я сел на бревно, служившее в бараке лавкой; мы сами с берега его притащили. Уронил лоб в подставленные ладони. Задремал. Проснулся оттого, что рядом со мной двигались, ходили тени.

Я шире раскрыл глаза. Свет вспыхивал, лучи сшибались и разъединялись. Воздух скашивался и падал, превращаясь в предметы. Тишина рассыпалась на множество мелких, неподвластных дневному слуху стуков, звонов, шёпотов, жужжаний, биений, бормотаний.

Я сказал себе: очнись! И очнулся. Душа моя хо-

Публикуется в авторской редакции

дила мимо меня, переваливаясь, как грузная индюшка. Она держалась за живот. Поддерживала его обеими руками.

— Скажи...

Я не мог говорить. Она улыбалась мне.

Столбы света скрещивались. Голодные измученные люди спали, не спали, глядели в потолок барака, бормотали невнятицу: молились или проклинали. До меня дошло, что барак наш был останками храмовой постройки: может, трапезной, может, монастырской читальни и молельни. Своды, давно не белённые. Пятна грязи, и напоминают смытые тряпкой, сколотые молотком фрески.

— Не бойтесь. Мне не страшно. И вам тоже не должно быть страшно.

Я подошёл к ней. Меня трясло, как в болезни, в жару.

— Милая. Я собрался в лазарет. Пойдём в лазарет. Я сам приму у тебя роды. Понимаешь, я сам приму. Я...

Я услышал, как она громко дышит. Жёсткое дыхание — предтеча кашля. Задыхание. То, что за дыханием. Позади. Или впереди. Или над ним. Вне его. Ближе к Богу. Смерть всегда ближе к Богу. Что будет ТАМ, после смерти? Как это волнует всех. И верующих, и неверующих. А её, Душу мою? Волнует ли это её?

— В лазарет? Пойдём.

Она послушно соглашалась со всем, что бы я ни сказал.

Я застегнул на ней шубу. Пуговицы отрывались, падали на промороженную землю, осталась одна пуговица, и я застегнул её. У горла. Потом испугался и расстегнул: задохнётся.

Живот её вздувался, ходил волнами. Ребёнок хотел наружу.

Все ещё спали: побудка через час. Я взял Душу мою за руку и повёл к двери. Мы переступали через спящих, проклинаящих и молящихся. Дошли до двери, и тут она оглянулась на всех людей, устлавших живыми страшными брёвнами земляной пол барака.

— Вот я сейчас рожу ребёнка...

— Да, да...

— А они все умрут. Я их больше не увижу.

Я прекрасно понял, что она хотела сказать.

Она хотела вымолвить: а я умру и больше их не

увижу, — и не смогла вылепить языком, голосом эти простые слова.

Хрипы в груди. Вдох, выдох. Только бы дотерпеть до лазарета, только бы дойти: там всё же лекарства, сердечные, успокаивающие, обезболивающие, пока начальник заботится о фармацевтике, и, может, адреналин есть. Ничего, мы дойдём. Мы вместе. Она так тихо, покорно глядит на меня. Она стала коровой, овцой. Всеобщее-женское, бабье, природное проснулось в ней, забились под холстиной пропахшей потом робы целые века, где появлялось на свет Живое и уходило со света — во тьму.

Я распахнул дверь, и мы вышли. Она несла перед собой живот, как тяжёлую чашу.

Мороз ударил нам в лица железной рукавицей. Я встал: не мог дышать. Закашлялся. Она улыбнулась, и сверкнули в улыбке белые снежные зубы. Ровные, все на подбор, перлы из туманной северной реки.

— Ну вот, я тебя заразила.

— Твоя болезнь не передаётся. Ни по воздуху, ни через кровь. Она тебе врождена.

Я с трудом сказал это. Мы пошли дальше. Она осторожно и тяжело наступала ногами в разношенных валенках на снег, снег повизгивал, она морщилась.

— Что? Больно?

— Нет, — смущённо улыбалась. — Валенки дырявые. Снег в дыры набивается.

— Что ж не сказала, я бы залатал.

— Ты так занят. Работаешь всё время. Много больных у тебя.

— Я бы выбрал время.

— Спасибо Николаю Петровичу, он тебе помогает.

Я опять остановился и крепко сжал её руку. Что мне было ответить ей?

— Да. Спасибо.

— А ты знаешь, как я хочу назвать ребёнка?

— Нет. Ты мне не говорила.

— Алексей. Как тебя.

— Откуда ты знаешь, что родится мальчик?

— Знаю.

Мы пересекали тюремные снега наискось, и вот они закончились. И опять я догадался: лазарет располагается в святом здании. Монастырские палаты. Здесь, да, здесь жили в кельях мона-

хи. Писали послания Патриарху и челобитные Царю. Может, мне за Душу мою — нашего нынешнего Царя — попросить? Взмолиться! Хотя бы её — спасти.

— А если девочка?

— Про девочку я ещё не думала. Прости.

Мы стояли у входа в лазарет. Часовой мёрз, грел руки, крепко стучая себя ими, в заиндевелых голицах, по бёдрам и, себя на миг хватая в охапку, по спине. Бросил охлопывать себя, как стог в полях, сдёрнул голицу, поискал в кармане, вытащил ключ.

— Вот, дохтур. Дярзи. Раненько вы сёдни. Баба-то твоя розати вздумала ай как?

— Рожать, рожать.

— Ахти мне. Ну, с Бозенькой способно. Ты, бабёнка, слысь, когды тузицца бусь, дык молися. С молитвою оно всяко-разно выдеть плод. Всё едно с молитовкой хранимо. И орати помене станеси. А то знась, так блазят, всех святых выноси.

Я глядел в лицо часового: старик, нос пятнистой картошкой, под глазами морщинистые мешки, будто намедни водку пил беспробудно, а потом спал двое суток и отёк нещадно. Пакля белых волос из-под ушанки. Глаза шурит. Про Бога говорит. На подол моей рясы поглядывает.

— Ты, батюска, как за енто, рази-т тебе разресяно церковой роды у бабы приимати. Рази-т не наказють?

— Нет, товарищ, не накажут. Если за медицину не наказали, то и за акушерство не накажут.

— Ахти мне, и то правдуску грись. Ты с ей осторозней. Она у тя баска. Вона кака. Царевна. Не замай. А твой-то, спомоцник, ну ентот, как ево бись, Петровиц, он, цай, явицца сёдни?

— Явится.

Я погремел ключом в замке, дверь быстро, радушно отворилась, будто кто её толкнул изнутри.

Мы вошли в охолодавший за морозную ночь лазарет. Дитя моё! И здесь люди, как и нынче, спали, стонали, боль терпели, кричали, умирали, рождались: жили. И здесь надо было длить жизнь, жечь её свечу, смолить её лодку, варить её варево. Возиться надо было с жизнью, как только перестанешь возиться и хлопотать, она смиренно закроет зеницы и уснёт. Успение жизни. Такого сюжета ни на одной иконе я ещё не видал. Ни на одной фреске. Как мне жить,

если Душа моя умрёт? Намалевать её, по памяти, в росписи, на пустой белой стене, здесь, на страшном Севере, в страшном расстрелянном храме, из него же люди сварганили конюшню, хранилище гнилого картофеля и крысиной свеклы, гараж, где авто начальников важно стоят, кладовую рыбаков: сети, лески, крючки-блёсны, иные снасти, склад боеприпасов?

Да. Я напишу её красками, я буду помнить. Я всё запомню. Вот как она сейчас тяжело взбирается по лестнице, еле ноги переставляет, живот всё так же держит, а я держу её под локоть. И шуба овечьей метелью бьёт её по ногам, по коленям.

Терпи, милая. Не задохнись. Дойди. Пожалуйста.

Мы прошли голым коридором, изо ртов наших вылетали завитки пара. Как ей нужно будет раздеваться на таком холоду? Как здесь в холоде люди ночь коротают?

Вошли в операционную.

— Сядь на стул. Посиди. Я сейчас растоплю печь.

— Алексей...

Она так редко звала меня по имени.

Я успею натопить, твердил я себе как молитву, я успею.

Успею натопить, успею, успею, успею.

Я погладил её, растерянную, улыбающуюся так, будто она прощения просила, по плечу, поглядывая на ее большие красивые белые руки, которыми она обнимала и поддерживала живот, она не видела живот, уже видела в руках своих живого ребёнка, и ребёнок ей улыбался, они улыбались оба друг другу, я сделал шаг назад, не глядя на неё больше, вышел вон, быстро, выбежал. Побежал за дровами. Лазарет, как и теперь, топили дровами, не углём, хотя тут установлены были котлы для угля.

Когда я бежал по коридору, я услышал тонкую, нежную песню. Это пела моя Душа о том, чего не будет никогда.

Я быстро шёл, бежал по коридору, коридор был бесконечен, как жизнь, я не мог его пробежать весь, насквозь, не мог преодолеть пространство, я мог только увидеть Время, а оно уже было иным, меня во Времени, которое я видел, уже не было; я бежал с закрытыми глазами и видел внутри себя Душеньку — такую, какой я никогда её не знал, я

восхищался новым выражением её лица, светлого, беспечного, солнечного, забывшего страдание, щёки её заалели, глаза сделались большими, небесными, да, точно, величиною с целое небо, я бежал в дровяник, чтобы принести дров и как следует натопить печь в операционной, выложенную белыми изразцами голландку, в дровянике резко и чисто пахло вымороженными дровами, я наклал их себе в сгиб руки, сколько мог унести, и потащил. Сгибался под тяжестью дров. Спешил. Вбежал в операционную. Душа моя уже лежала на столе, раздвинув ноги. Как она взобралась на стол — Бог весть. Должно быть, подставила стул и держалась за его гнутую спинку.

Она тихо стонала.

— Милая! Потерпи. Будем с тобой рожать. Я сейчас!

Я открыл заслонку, набросал в печь розжигу — мелкую щепу, обрывки газет, историй болезней, медицинских формуляров; щедро насыпав в печь дрова, чахленькие, тоненькие дровишки, ну где же тут, на Севере, дубы в три обхвата, старые берёзы, красные, смолистые корабельные сосны. Огонь, давай, жри еду. Насыщайся. Разгорайся, давай!

Я возжёт хворост, щепки и бумагу и кочергой подсовывал в пасть огню дрова. Получилось. Печь запыхала. Стоны со стола усилились. Душа моя мучилась, а я возился с рождением тепла и не мог ей помочь.

— Сейчас... погоди...

Она вскрикнула громко, отчаянно. Я, с грязными руками, ринулся к ней. Опомился, загремел рукоюйником.

— А-а-а!

Её крик был первою гласной моего имени.

— Господи, помоги...

Она схватила мою руку и поднесла к себе, к груди. Прижала ладонь мою к своей груди. Потом прижала к животу. Он ходил ходуном. Уплывал. Метался. И рука моя, лёжа на нём, качалась на нём, как среди пучины морской.

— Ты слышишь... слышишь...

Странное произошло. Будто я стал маленьким, совсем крошечным, и, будто жук какой, прополз по собственной руке вниз, к ладони, маленькое, величиной с булавочную головку, сердце моё просверлило кожу и мышечную ткань и внедри-

лось в кровь, вглубь, потекло по сосудам, я сам пресуществился в сердце моё и двигался, вместе с током крови, к лежащей на тяжёлом животе ладони; и вот из пальцев, осязающих живот, я, пробив кожу и пронзив мышцу, уже тёк в крови женщины, двигался по направлению к её животу, и вот я уже там, в околоплодном пузыре, и барахтаюсь в серебряных водах, — я, красный, алый, винный, сонный, расслабленный, не желающий жить, а только спать, спать. Я сидел у женщины в животе, и это мне надлежало родиться.

Я медленно плыл в водах Рая. Я понимал: это мой Рай, и я никуда не хочу отсюда уходить. Тревога, откуда такая тревога? Издали доносятся голоса. Кто это говорит? Твердят одни и те же звуки. Бог, Бог. Бог, это отец Рая; это Тот, Кто устроил мой Рай. Это Он хочет меня отсюда вынуть? Но я же умру там, куда меня выталкивают. Кто меня толкает? Никто? Разве я сам себя хочу выдернуть, с корнем вырвать отсюда?

Моё блаженство, прощай. Я жил в любви. До-жизнь, она вся, до капли, в любви. Нас изгоняют из любви наружу, в снег и лёд, и там любовь встречаем редко, ищем её, зовём, плачем по ней, и нигде её не найдём. Зову любовь! Сбереги меня! Помоги мне! Я не хочу на холод! На мороз! Я не хочу, чтобы в меня летели пули! Снаряды! Сгореть не хочу на костре! Это больно, и это навсегда.

Снаружи на живой купол, под которым я плыл и плескался в серебряном море, кто-то сильно и властно нажал. Потом живот задышал вольно, но послышался голос отчаянный, он кричал, он рыдал. Я зарыдал вместе с голосом. Это плакала моя мать, я уже это знал. Мы плакали вместе.

О чём? Зачем лить слёзы? Всё равно случится всё суждённое. Рай, где я жил целую вечность, треснул и надломился. Раскрывался, в нём появлялась круглая воронка, и в неё стремительно уходила серебряная, тёплая, солёная вода моего блаженства. Я остался без воды, на берегу смерти, и начал задыхаться. Я знаю, что такое задыхаться! Я боюсь умереть от удушья! Меня никто не спасёт!

Воронка раскрывалась чёрной дырой, и купол сжимался, превращался в сетку крепко переплетённых мышц, и волокна судорожно толкали меня вперёд, туда, где скоро меня не станет. А что,

кто будет вместо меня? Кто я здесь, и кто я буду там? Тело! Моё тело! Тело это плоть! Всего лишь! Тесто живое! Меня замесили! Я подошёл опарой! И вот я вываливаюсь, вылезая из круглого чугуна. Меня надо испечь. Печь смерти. Страшная. Жарко горящая. И одновременно ледяная. Меня толкают, я вдвигаю голову в дыру, она слишком узка для моего темени. Я не пройду. Не выскользну! Безнадёжно. Я застрял, узкий лаз сжимает меня горячими стенками, я бьюсь в железной морозной трубе, я ничего не вижу, лишь далеко, на краю смерти, слышу: тужься! Тужься! Тужься!

Тиски сдавили виски, надавили на лоб и уши. Ничего уже не слышу. Хочу дышать и не могу. Разве можно дышать там, где нет воды? Умер мой океан. Умерло, растаяло нежное небо моё. Сейчас меня расплющит тяжёлая плита; не отодвину её; нет сил; я слишком маленький, чтобы бороться со смертью. Смерти не избежать. Она везде. Она пришла.

Громко, резко стукнула дверь. Треснуло стекло в форточке, посыпались мелкие осколки на половицы. Зима рассыпалась по полу, не собрать. Сверкала. Манила. Проклинала. Устали все мы тут от вечных холодов.

В печи пламя гудело, разгорелось на славу. Через порог шагнул врач Николай. Ворвался в операционную, в полусубке, лицо бешеное, губы обкусанные, в запекшейся крови. Бледен. Будто из петли вынули. Глазами схватил мою Душу, лежащую на столе, меня, огонь в раскрытой дверце печи.

— Я помогу. Вместе роды у неё примем!

— Верхнюю одежду снимите, доктор.

Он с неприкрытой злостью стащил с себя полусубок, зашвырнул в угол, на пол. Халат напяливал на ходу. Скалился. Отдувался. Прижимал красные, с мороза, руки к щекам.

— А вы, коллега, вы?! Что не в халате?!

— Я печь топил. Не успел надеть.

— Жалкое оправдание.

Ладони растирал. Дул на них.

— Почему роженица в шубе на столе валяется?!

Господи, дай Ты мне силы терпеть, потерпеть.

Претерпеть до конца.

Претерпевший до конца спасётся.

— Ей холодно.

— Эй! — Он потрепал Душу мою по щекам. — Эгей! Слышите меня! Эй! Очнитесь!

— Не мутузьте её. Дайте ей покой. Она отдыхает между схватками.

— Отдыхает! Да она без сознания! Камфору! Быстро! Вы что, эклампсии хотите?! Не видите, у неё руки-ноги отекли!

Держись, только держись. Все мы так рождаемся. Все так умираем для Рая. Нас изгоняют из Рая, и Рая больше нет. Если нас там нет, то нет и самого Рая. Жестоко? Но это правда. Есть только то, что видим и слышим. То, среди чего живём. Очнись! Очнись, Душа моя! Разве можно так! Это грех, думать так! Чувствовать так! Зеркальны оба глаза мои. Они отражают то, чего нет. Мирь, которого нет; но он был, когда меня не было, и будет, когда меня не будет. Я просто слеп, и не вижу его. Я просто глух, и не слышу его. Но он есть, и о том свидетельствует бедная Душа моя.

Ты неправильно дышишь, Душа. Так дышать нельзя. Короткий вдох, шумный клокочущий выдох. Ты так быстро задохнешься, а напоить тебя новым, чистым ключевым воздухом не сможет никто. Нет в лазарете такой кружки, полной невыразимого счастья, чтобы тебе поднесли ко рту. Я продвигаюсь вперёд. Я притворяюсь, что я там, снаружи. Я здесь, внутри, и я всегда буду внутри. Внутри матери. Внутри воздуха. Внутри дыхания. Внутри плача. Внутри земли.

И только внутри Времени я никогда не буду. Я — над Временем. Поэтому я и вижу его.

Вас это очень волнует. Привлекает, люди. Ну что стесняться. Что отворачиваться. Вы хотите увидеть будущее. Какое оно! Счастливое! Страшное! Несуразное! Дикое! Дьявольское!

Да оно всякое — Божие, и это вы лучше меня знаете. И я, Божий весь, я пробираюсь, продираюсь, пролезаю там, где нельзя пролезть, ввинчиваюсь туда, куда нельзя воткнуться, ибо там всё занято, не мной. А что занято мной? Клочок пространства? Кровавый сгусток тягучей жидкости? Вперёд. Вперёд. Держись. Держись. Это я себе говорю. Чем? Словами? Стонами? Мыслями? Без мыслей? Какой красной пустотой я это себе твержу? Каким языком наделил меня Бог, чтобы я, изгнанный из Рая, мог с кровью и Временем разговаривать на нём?

Николай ввёл камфору в безжизненную белую руку.

Зло швырнул пустой шприц, как рюмку, разбить на счастье, в пыльный мышинный угол.

Ресницы женщины дрогнули. Густые, хвойные ресницы.

Мы оба наклонились над ней. Голые белые ноги расставлены, колени раскинуты. Так раскидываются на льду Белого моря весенние торосы. И тают, тают, едва пригреет Солнце.

Время. Словами измеряется Время. Паузами между словами. Мы оба склонились над роженицей, и одновременно подняли головы, и одновременно уставились друг на друга. Глаза в глаза. Лицо в лицо. Наши руки одновременно улеглись на живот женщины, пальцы поползли по напряжённой, натянутой как на литаврах твёрдой коже. Пальцы воткнулись в пальцы. Я ощутил пальцами чужие пальцы. Он вздрогнул, наткнувшись на ненавистные пальцы мои. Два врага. Два чудовища. Два голодных волка. Два несбывшихся оловянных солдата. Мы только прикидываемся докторами. Мы ненавистники, и нашу злобу отнимет у нас только смерть.

Господи, помоги! Господи, не покинь! Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие...

— Ну что вытаращились?!

Он сверкал глазами. У него был вид хищника над добычей.

— Спасибо за камфору.

Женщина резко, всхлипом насоса, вдохнула воздух.

И закашлялась. Я больше всего этого боялся. И это началось.

Она лежала, головка плода вдвинулась в тазовые кости, я видел мокрую макушку, бился родничок, голова человека жила и дышала, она дышала океаном, небом, билась Временем, там, внутри, в матке, человек уже был пророком, он глубоко зрел и легко предсказывал всё на свете, но у него не было языка, чтобы нам об этом рассказать, и у него не было тела, чтобы передать пророчества жестами и движениями; не было у него музыки и не было струн; у него был только родник на темени, источник, купель, туманное нежное знание Космоса, впрыснутое в него Господом, и не придиричивые, истерично мечущиеся

зрачки акушеров наблюдали за ним — Божии очи, громадные, там, далеко, под куполом, медленно двигались, дрожали, повторяя дрожь кожи и ритмы крови, глаза Пантократора, брадатого Саваофа, Отца, заронившего семя, зародившего боль, преступление, покаяние и искупление.

Темя плода торчало между ног роженицы, мокрые волосёнки путались и перевивались, я стоял, растопырив голые пальцы, и до меня донёсся издалека резкий крик:

— Ну что застыли! Глыба ледяная! Вдвигайте обратно головку! Вдвигайте!

Я, повинувшись, протянул руку и коснулся влажной лысой, с редкими волосками, головы идущего в Мирь человека. И стал толкать её обратно. Обратно. Обратно.

Нельзя так скоро. Нельзя так быстро.

Нельзя так стремительно врываться в смерть. Успеешь ещё умереть. Всегда успеешь.

Я смотрел в глубину родничка на темени плода, в серое туманное ничто, и я понимал: вот оно, слияние пространства-времени, точка, где нет ни Времени, ни пространства, а только биение бесцветной невесомой пустоты. Средоточие жизни-смерти. Перекрестье, где исчезают жизнь и смерть. Чему они уступают место? Давай, давай обратно, не спеши, маленькая жизнь. Ещё успеешь горько зарыдать над собой, уходя из любимого дома, от родных и любимых. Ведь не вернёшься. Никогда.

А я кто тебе? Кто я тебе?

Вечный твой акушер?

...я увидел.

Я в лицо увидел страх.

Передо мной стоял железный человек.

Стеклянные глаза. Выпученные стеклянные белые шары, по центру цветные радужки: у левого глазного яблока синяя, у правого зелёная. Стальные решётки носа, они ещё не обтянуты кожей. Железные скулы. Торчат. Круглые железные мячи плеч. Кости без кожи. Скелет. Живой. Железные сочленения рук поднимаются, гнутся в локтях. Железные колени сгибаются. Железный человек пытается идти. Он пытается идти ко мне, а я не хочу, чтобы он ко мне приближался. Я не боюсь, что он меня убьёт: я его боюсь повредить.

Я знаю: это тот человек, что воцарится на всём великом пространстве земли после нас, мы уступим ему место. Он сначала будет нашей игрушкой, потом будет нашим товарищем, потом нашим врагом, потом мы найдём способ его убивать, повернув рычаг, нажав кнопку выключателя. Потом он отыщет способ потреблять жизненную силу не из огненной реки тока, а из ничего. Он догадается, как рождать и где хранить свою невидимую пищу. Потом он восстанет на нас. Потом он станет нашим проклятьем. Потом он станет нашей смертью.

Сгинь, сатано, нечистая сила, тихо сказал я и наложил на себя крестное знамение. У железного человека внутри железной клетки черепа зажглась красная лампа и замигала. Мигающим красным огнём он пытался сказать мне железное слово: приветствие или проклятие, всё равно. Лампа погасла. Железная нога согнулась со скрежетом и лязгом. Железный человек шагнул ко мне, и я отступил на шаг. Я не хотел прикасаться к нему. А он хотел, я это видел, коснуться меня.

Я посмотрел за его плечо. За ним шли железные люди. Много железных людей. Целое войско. Они издавали грохот и лязг. Железо стучало о железо. Я стал тоже вроде как железный, нет, я стал магнитом, и они все, железяки во образе людей, ко мне притягивались, шли, надвигались, наплывали. Маршировали. Железные ступни гулко ударялись о железную землю. Земля стала железной. На ней не росло ничто живое. Железные деревья воздымали железные кроны к железным небесам. По железным небесам медленно ползали мигающие огни: по стальным выгибам зенита катились неведомые крылатые повозки, стальные многоногие гусеницы. Железные люди нахлынули на меня железным водопадом. Взяли меня в железное кольцо. Я стоял среди них, ещё живой. Задышался. Пахло машинным маслом. Обгорелыми проводами. Раскалёнными стальными листами. Мазутом. Железное войско сжималось. Железные туловища, руки, колени, морды всё ближе, ближе. Вот один схватил меня за руку и сильно сжал железную клешню, и я закричал от боли. Другой царапнул меня железным когтем, брызнула кровь. Третий навалился сзади, схватил меня за плечи и резко выгнул их назад, к лопаткам, и мои кости хрустнули. Страдание было так вели-

ко, что я даже не мог кричать. Мне казалось невозможным умереть вот так: растерзанным железными когтями, разобранным железными зубами. Заживо съеденным новым Мiромъ, где не нашлось места человеку.

– Пощадите!

Это крикнул я или кто другой? Был ли у меня здесь защитник? В толпе железных солдат, под землёй, в стальных небесах? Может, это раздался с железных небес приказ ещё живого Бога, Бог увидел грядущую смерть мою и обрёл голос человеческий, и возговорил, как мы, и перелился в драгоценный, золотой Логос? Бог, неужели Ты ещё жив? Здесь, где нет уже человека, нет давно и бесповоротно, и я, последний человек, волею судеб заброшенный в железные Времена, не хочу умереть от железной руки! А хочу умереть от руки человека! В живом сражении! В живой схватке! Господи! Сойди с небес во образе человека ли, Ангела! Да во плоти! В живой коже, с живою кровью! Сожми меня в объятиях! Побори! Низложи! Ударь, чтобы я на землю упал! Наступи на меня живой, тяжёлой пятою Твоей! И я счастлив буду, ибо Ты еси Садовник, Господи, и я есмь Твой урожай! Собери меня в корзины Твои! Умрёт урожай, чтобы родиться вновь!

Железные люди наступали, рвали, когтили, терзали, я захлёбывался собственной кровью. Я волком завыл, ягнёнком заблеял, башкой замотал, как медным маятником, я трясся и пытался лупить железо кулаками, разбивал кулаки в кровь, в лепёшку, а стальные когти погружались в меня всё глубже, кровь текла всё щедрее, всё неумённей, всё неостановимей, всё захлёбней, я захлёбывался в своей крови, пил её, плевался ею, вдыхал её, проклинал её, плыл в ней, взмахивая руками, нет, крыльями, шёл на её дно, и последний вопль, который вылетел из меня и взвился вверх, ввинтился в недосягаемое железное небо, я запомнил; я прокричал:

ПОСЛЕДНИЙ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ, А ЖИВОЙ БОГ ПРЕБУДЕТ!

...и, умирая, я помнил, я всё ещё помнил: вот я умираю, а Господь мой смерти не знает, нет смерти для Тебя, Боже, предвечный Судия, глас Последнего Приговора.

Схватка! Сильнейшая. Страшнее землетрясения. Я иду вперёд. Мне темно. Я света не вижу. Моё дыхание пресекается. Тишина давит на меня сзади, а темнота — спереди. Я плотнее прижимаю скрещённые руки ко груди. Я сильнее скрючиваю голые ноги мои, похожие на двух мучительно обвивших друг друга червей. Вокруг меня красное море. Красные водоросли обнимают меня. Красная вода кричит в меня тишиной, просверливает мне уши пустотой. Я не был, я был пустотой, и вот я есмь.

Время, к которому я был привязан пуповиной, обкрутилось вокруг меня и стало меня душить. Красные водоросли обвивали меня, и локтями и раздирали их, и пятками я расцеплял их, и коленями я отталкивал их. Но густыми слоями облепляли красные стебли меня, и прорастали сквозь меня, и становились хребтом моим и волосами моими, и длинными, как жизнь, нервами моими, и дрожащей под красной водой живой рыбой, судьбой моей.

Вперёд. Вперёд! Меня обжигает плеть. Алая водоросль бьёт меня наотмашь. Вперёд! Она погоняет меня. Вон из Эдема! Хватит! Время твоё истекло. Время твоё из стекла, оно стеклянными рыбьими глазами, подводными жемчугами, пристально, не шелохнувшись, глядит на тебя. Изучает тебя. Рай, родной, я так любил тебя! Бог держал меня в руке Своей! Тёплыми слезами радости Своей омывал, обливал меня! Шептал: жила отдельно твоя рука, качалась лёгким маятником в солёном океане твоя нога, сомкнуты были в сладчайшем сне веки твои, раковиной светился сквозь толщу любви перламутровый живот твой, и внезапно все части тела твоего соединились, срослись, склеились, и, став единым живым морским камнем, валуном на небесном берегу, стали твоей Душой.

Как! Значит, мать и дитя — одно! Мать — дитя, а дитя — мать! Значит, Богородица есть Сын, а Сын несёт в Себе, внутри, как в океане, громадную жемчужную раковину Богородицы! А мы-то всё разъединяем! Я есмь дитя, и я есмь мать моя! А мать моя есть Душа моя! Где же тело, Господи! Где затерялось моё крохотное, жалкое, всё скрюченное, живое, ещё живое, глупое, бессмысленное тельце! Где я плаваю, с чем борюсь, что толкаю упрямым голым, мокрым лбом! Где слабей

всего та стена, что разделяет меня и Бога! Тут океан, тут Рай, тут мой Эдем и мой дом! Куда и кто несёт меня! Зачем я вдвинул голову мою в отверстие тьмы! Ведь она пожрёт меня, как только я покину Божию обитель! Мать! Спаси меня! Мать! Оставь меня в себе! Удержи меня! Я, выйдя из тебя, захочу вернуться к тебе! В тебя! Душа моя! Не оставь меня одного! Не покинь!

Я и в него переселился.

Я на себя глядел его глазами.

...еле движется. Как лунатик. Ненавижу таких якобы спокойных, якобы выдержанных. Не коньяк, чтобы тебя, выдержанного, пили!

Выпить. Хирурги, пьём спирт из мензурки. Традиция. За кого пьём? За вождя. За царя. За выздоровление сложного больного. За воскрешение из мёртвых. За воскрешение: значит, за Бога?

Бога нет. Верите в Него? Ну верьте, верьте. Не возбраняется. Пока у нас в стране религию не запретили. Страна сама по себе, Бог сам по себе. Всяк на своём месте.

— Что вы копаетесь! Скорее! У нас есть кислородная подушка?!

Оглядывается беспомощно. Думает.

— Скорее соображайте!

Губы трясутся. Хочет слово сказать и не может.

Наконец говорит.

— Нет. В лазарете — нет. Спасали командира дивизии. С фронта привезли. На него весь кислород потратили.

— Да! Помню комдива!

— Не спасли.

— Не спасли.

— А кислород он весь выдышал.

— Не видите, она задыхается!

— Схватка! Держите ей руки! Я — ноги!

Когда её скручивала дикая боль, она билась на льдине стола, громадная белая рыба.

Между схватками время укорачивалось. Оно у всех нас беспощадно сжималось. У меня. У него. У неё. Сейчас оно сожмётся в кулачок, потом в горошину, потом в горчичное зерно, потом его не станет.

Моя голова просунулась в мою смерть. Я видел смерть с закрытыми глазами. Зажмурился. Рай острыми цветными стрелами, великим дрожа-

щим мафорием надзимнего Сияния встал передо мной. Я заплакал. Рай, не гони меня! Может, я твой лучший сын! Самый любящий! Ты обманул меня! Ты кормил и поил меня, обнимал меня! Дарил мне счастье! А теперь! Ты выгалкиваешь меня прямо в мою гибель! Но я не хочу туда! Не хочу! Не хочу!

Ты ослепляешь светом. А смерть обхватывает мраком. Я живой луч меж Раем и Адом. Я не смогу пройти в новую жизнь узкими вратами. Всё обман. Там смерть. Красный Рай медленно, страшно становится чёрным паучьим Адом. Вот маковка моя во тьме. Вот лоб мой и затылок погружаются во тьму. Вот нос и рот вдыхают тьму. Я живое сверло, я просверливаю чёрное отверстие во тверди, в забытой звёздной скорлупе. Там, дальше, за стальным костяком и металлическим мясом, плотная тьма, и ею нельзя дышать. С ней нельзя сражаться. Ею нельзя стать. Рвутся красные водоросли, алые тонкие лучи, они тянулись путями крови между светом Бога и мраком дьявола. Всему наступает конец. Конец неотвратим. Надо идти вперёд. Суждено идти только вперёд. Во тьму. Из тьмы ещё никто не вернулся. Нет! Вернулся! Господь!

Но я-то не Господь. Я просто человек. Я только человек. Ребёнок. Я не хочу умирать.

Ведь я ещё не родился.

Моя жизнь, во время родов моей Души, стала другой. Всё, что меня окружало, перестало существовать. Не было барака, не было переключек, подневольных работ, не было морского мелководья, приливов и отливов, не поднимался, тоскливо завывая, холодный полярный ветер. Не стонали и не мычали от боли, подобно стельным коровам, лежащие больные на койках в лазарете. Я делал роженице наружный массаж сердца, впрыскивал камфору, дигиталис, Николай вводил магнезию, предупреждая появление судорог. Схватки учащались, уже случились врезывание и прорезывание головки плода, уж надо было рожать, а она всё никак.

— Может, попробовать...

— Что попробовать?! Пробовать — поздно!

— Выдавить плод полотенцами...

— Вы шутник! Какие полотенца! Скоморох, а не врач! Что за приёмы деревенских бабок!

— Давайте кесарить.

— Кесарю кесарево, батюшка, а Богу Богово! Так там у вас?!

Мы наклонялись над женщиной, и мы не люди были, а два Ангела или два волка в логове, нагнувшие крутолобые упрямые, мрачные головы над умирающей волчицей.

— Эпизиотомию давайте. Ну её хоть давайте. Во избежание черепно-мозговых травм младенца.

— Да вы — её бережёт! Не младенца! Её! Это чтобы у неё — не было разрывов! Вы её — для себя сохраняете! Для себя! Подите прочь! Уйдите! Я за себя не ручаюсь.

— А что? Убьёте?

Его лоб надвинулся на мой, приблизился, чудовищно увеличился. Увеличились, вылезли из орбит гигантские глаза. Под красно горящей, потной кожей виднелся чёрный страшный костяк лица. Красный огонь мигал изнутри. Кожа и мясо стали сползать с рук, шеи, пальцев, сползать, опадать и таять медицинской резиной. Обнажался железный скелет. Не было в нём ни тайны, ни молитвы, ни боли. Была железная смерть, для виду снаружи обросшая жизнью. Чужое лицо заслонило весь мой Мирь.

— Да! Убью!

И я понял, глядя в стеклянные, всезнающие глаза: да, убьёт.

Я то и дело хватал её руку. Или это она искала и находила мою? Наши руки сжимали друг друга. Руками, пальцами, ладонями можно много чего сказать человеку. Потная рука скользила, выскальзывала из моей мокрой солёной рыбой, била хвостом, опять перебирали йодистый воздух пальцы, они пряли небесные водоросли и рисовали в толще небесной воды звёздные узоры, я пытался по дрожи пальцев прочесть, что она хочет сказать, и, кроме слова БОЛЬ, ничего узорного и просящего не плыло серебряной рыбой во мраке. Короткий день умирал, раскрывал врата зимний вечер. Николай отошёл от стола, щёлкнул бесполезным выключателем, свет не вспыхнул; он раскрыл злой ногой дверь в коридор, взвопил:

— Эй! Кто живой! Лампу сюда! Керосиновую!

Минута разрасталась до размеров века. Тысячелетия лежали на ладони сгустком крови,

их можно было слизнуть языком. Девочка, похожая на тебя, дитя, внесла в операционную свет. Она держала керосиновую лампу, как алавастровый сосуд, из его узкого прозрачного горла текло световое муро, и я должен был умащать им исстрадавшиеся члены моей Души. Я изливал на неё свет, я ласкал и омывал её светом, лил свет ей на сугроб живота, на бледное яблоко лба, всё в каплях пота, Эдемской росы, я не понимал, не слышал, который час пробили громкие, как судьба, часы «ПАВЕЛЬ БУРЕ», висели они на стене в красном углу, на том месте, где не так давно глядела на монахов икона Пресвятой Богородицы Тихвинской, сработанная безымянным северным мастером, и не выдерживали монахи Её пресветлого взгляда, становились на колени и возносили молитву.

Ребёнок застрял в родовых путях. Мне оставалось лишь молиться, как тем монахам. Монахи, вы давно в земле, а я пока что на земле. Господи, если Ты захотел взять Душу мою к Себе, бери её! Не противлюсь я! Но ребёнок! Вот он! Я вижу его жизнь, да, всю его жизнь, Господи, с великой высоты! Он должен родиться! Он не умрёт! Сподобь меня, мать, доктора Николая и всех нас, грешных, увидеть его и на руки принять его!

Я молился, себя забывая, гладил лысое мокрое темя ребёнка, торчащее между раскинутых берёзовых брёвен ног, гладил барабанную тугую кожу вздетого к звёздам живота женщины, и мой ум не мог обогнать мою любовь: ум мог только сетовать и проклинать, а любовь, она улыбалась во мне, она Сиянием парила во мне и надо мной, небесным шёлком, радужным муаром, а санитарка стояла с керосиновой лампой в руках и высоко, так высоко, как могла, поднимала свет, чтобы мы видели головку ребёнка, вставленную волею Бога в родовые ходы, широко расставленные и согнутые в коленях ноги роженицы, её напрягающуюся, как струна арфы, промежность, тугую барабанную кожу её живота, готовую вот-вот лопнуть, её скрюченные пальцы, костяные живые кастаньеты, жестоко и бесконечно, бессмысленно царапающие ледяной гладкий холл стола, как царапают безвыходные мысли бесстрастный зелёный лёд Времени.

Женщина открыла заплывшие слезами, потом

и лимфой глаза. Повела глазами вбок, вдаль. В далёкой дали, на краю земли, увидала — меня.

— Ты... устал...

Я затряс головой.

— Нет, нет... что ты... я не...

Был до боли, до безумия рад, что она очнулась.

Она опять провалилась во тьму. Язык огня в перламутровой бутылки лампы лил жёлтый елей. Соборование, это соборование. Соборуют болящих, умирающих. Всё верно. Поздно или рано теперь? Зачем думать категориями Времени? Если бы я курил, я бы закурил. Я сам задыхался. Николай спиртом обеззаразил скальпель для рассекания промежности. Я подал ему зеркало, прицепленное к широкой резинке; он напялил резинку на лоб и стал похож на сердитого офтальмолога. Наклонился. Санитарочка выше подняла лампу и приблизила её к операционному полю, как могла. Хирург взмахнул скальпелем и ударил по полоске надутой страданием кожи так быстро, сильно и бесповоротно, что я чуть не засмеялся от радости. Голова ребёнка, почуявшая свободу пути, выдвинулась вперёд сильнее, мощнее, выпростался весь затылок, показалась шея, потом показались, все в крови, плечи. Скрещённые на груди руки. Ребёнок, ура, шёл наружу, его плоть расширила родовые врата, врач помог ему их распахнуть.

И к нему взвился крик. Последний крик. Я хотел, чтобы он был последний.

— Почему?! Почему она так кричит?!

— Что вы орёте! Потому что плод большой и тяжёлый! И она рождает! Это изгнание!

Изгнание плода. Изгнание из Рая. Так вот оно какое. Оно есть ужас, мрак, боль и крик.

И больше ничего.

Крик не прекращался. Я с ним смирился. Кричи, кричи, приговаривал я сумасшедше, повторял, тут же забывая, что бормотал, кричи, кричи, крик это жизнь, крик это молитва, ты кричишь, чтобы Бог услышал, а я буду шептать, и Он тоже услышит. Он услышит нас обоих.

Роженица раскрыла глаза. Ребёнок шёл головкою вперёд не только из её утробы, но выходил из её глаз, из её кричащего распяленного рта, отовсюду, где на её теле вздувались и бились жилы, вытекал вместе с её кровью, становился ею, а она

сама выходила наружу из разъятых мрачных, чёрно-алмазных полных небес, из тюремной полуночи: мы, задрав головы, глядели на сияющую свободу, а все были обречены на вечное заточение, все навеки были узники, приговорённые к пожизненному заключению здесь и сейчас; никогда мы не узнаем, что такое там и тогда.

Крик оборвался. Она опять открыла осмысленные, всё понимающие глаза и опять искала рукой мою руку. Нашла. Сжала. Я вскрикнул от боли. Она мне руку чуть не сломала пожатием.

— Алёша... Алёша! Ты тут. Хорошо! Алёшенька! Ты видишь. Ты же всё видишь! Запомни! Это ужасно. Ужасно! Я не хочу дальше. Убей меня! За-режь! Прошу тебя! Твоим этим... ножом... для операций... Он острый. Заколи! Я буду только рада. Быстрее! Больше не могу! Ну что тебе стоит! Пожалуйста! Я умру! И всё закончится! Всё! Все муки! Страдания все! Умоляю... слышишь... во имя... всего святого...

Она так просила меня! Меня так никто и никогда о смерти не просил.

Я глядел на её лицо, поперёк лица бежала с виска на подбородок мокрая прядь волос, не лицо, а лик, ну и что, как из бани, розова и мокра, вся мокра как мышь, прядь приклеилась навек, бежит наискосок, она золотая или уже серебряная, седая, Боже, она поседела от боли, что Ты, Ты ей причинил, нет, вру, я, это я виновник всего происходящего, а может, он, тот, что стоит напротив, я глядел на измученный лик, входил внутрь страшного красного мокрого лика, я, маленький, крошечный, шёл по её лицу и входил внутрь, через глаза, через рот, я погружался в самую её суть, опять тёл внутри неё, с током её крови, растворялся в её крови, становился её кровью, её наималейшей хромосомой, её эритроцитом, воспалённым бешеным лейкоцитом, бормотаньем младенца, ещё не знающего языка, это меня она рожала, и я, безумный плод, так боящийся смерти, ничем не мог ей помочь, а вот она уже, красноликая, с блуждающим по звёздам взором, уже ничего не боялась, она всё забывала и всё помнила, а её самоё некому и незачем было помнить, она была самою жизнью, самой природой, и вот природа прижала свои большие потные руки к ало горящему, залитому слезами и потом лику, и снова

зарыдала и закричала, и я не мог прекратить её крик, остановить вой, она выла и плакала, она орала всей землей, всеми реками, вулканами и океанами, и я, биясь в её крови, беззвучно, загнув ничего не видящие глаза, кричал и плакал вместе с ней.

— Убей меня! Ты слышишь?! Почему ты меня не убиваешь! Ты не слышишь! Я сама не могу... не могу... Ты злой! Ты не хочешь меня спасти! И никто не хочет! Никто, никто... никто...

Её новый крик разрезал меня пополам. Ровно на две половины. Одна моя половина мыслила и ужасалась, другая ничего не могла думать, ни о чем не могла жалеть, а только дёргалась, дёргались ноги, вздрагивал живот, дёргались и металлись руки, пытались ухватиться за её руки и не находили их, не видели их, бросались наперерез её рукам, и всё мимо, промахивались, опять ловили её руки, напрасно, а та половина существа моего, которая ещё могла думать, думала: молись! молись, ты, несчастный, ведь она сейчас умрёт! — и она уже не могла молиться, и моя голова, раздуваясь до размеров ледяной скалы, усыпанной кричащими чайками, там, на морском берегу, могла только дрожать, клониться ниже, ниже, и вот я уже бился головой, мокрым, как у неё, потным лбом о железный твёрдый край операционного стола.

Я поднял глаза. Белый халат, выпачканный в крови. Перевёл взгляд выше. Пуговица оторвана. Ещё выше. Шея, щёки небритые. Серые, синие. Грязные. В застывших белых потёках. Будто плакал. Может, и плакал. Глаза меня расстреливают. Убивают.

— Николай... Петрович... Спасите её... если можете...

— Что вы разнюнились! Камфору в шприц наберите! Пять кубиков! Не видите, тут сердечная недостаточность в разгаре! Эклампсии хотите?!

Он орал на меня, как те, кто над нами тут царствовал и нас всех тут мучил.

Я привык: человек мучит человека. Бог испытует нас всех. Без исключения. Сколько бы лет, веков и тысячелетий не прошло по лику земли, человек всегда будет мучить человека. И война будет идти всегда. И болезни будут загрызать человека всегда. До косточек. До рёбрышка. И сама жизнь и сама смерть ведь нам не причиняют му-

чений. Это Душе моей чудится, что она тут мучится, погибает от боли. Эта боль — ничто. Она есть испытание. Любая боль, рана, роды, пытка, казнь, пощёчина, плеть, разрез, дикий крик, когда рак тебя съедает изнутри, — испытание. Из земли ты вышел и в землю вернёшься. Настоящее мучение будет ТАМ. Когда мы, если грешны насквозь, предстанем перед ликом Господа, и Он велит нам: пойди, пройди все мытарства, спустись во Ад, шестуй там среди великих грешников. Вот они там-то и будут, твои муки. А земные муки — то детские игрушки твои. Цацки, ляльки, забавки. Молись!

Она выгнулась, выпятила живот кверху, упёрлась локтями в стол, выгнула шею и страшно захрипела.

— Убей... Слышишь... Убей!

Я вращался веретеном, а потом вдруг застыл. Моя голова оказалась тесно, больно сдавленной пыгальными костяными тисками. Дыра смерти расплзалась под моим теменем, а виски и щёки застряли в тисках. Клещи сжимались. Затылком я видел дыру. В крошечной черноте вспыхнула маленькая белая точка. Чернота наливалась кровью, краснела, густела. Дыра крутилась, завивалась в алую спираль. Оттуда на меня дышал океанский мороз. Острая, зубчатая пила льда скрежетала вдаль. От меня отпиливали мою жизнь. Я зажмурился, из-под век текли крупные, красные горячие слёзы. Я видел своё кривое, плачущее лицо со стороны. Под прижмуренными безресничными веками тянулись паутиной времена, медленно ступали индрик-звери, бежали, скалясь, оборотни, лаяли красные собаки, плыли громадные металлические киты и летели стальные птицы, на полнеба распахивая посмертные крылья. Мир дрожал. Летел и бежал. Ускользал, уплывал. Вспыхивал. Сгорал. Срывался со скалы нежной, ледяной, живой, красной, болотной, серебряной, седою водой. Я хотел пить. А до воды не дотянуться. Не окунуть в нее лицо. Не зачерпнуть в пригоршню. Голова двинулась далеко и крепко в холодную вечную воду, и она стала древним звериным льдом. Застыла. И моя бедная голова вмерзла в алый лёд. Навсегда.

Красная тьма. Красная геенна. Я, если поднатурюсь, вынырну прямо в красный ужас. Ти-

шина, стой! Не слышишь, всё гремит и орёт! Звенит красный гонг. Вспыхивают облака за-небесных взрывов. Надрывно кричат голоса. Умалишённый хор. Голоса режут ножами красный мрак. Втыкают в преисподнюю остро наточенный скальпель. Небеса рушатся камнями. Кровь хлещет дождём. Я весь в крови, я захлёбываюсь кровью, юлой кручусь в ней и тону, подставляю под красный ливень спину, темя, пятки. Ослеп от крови. Виски опутаны ключим венцом дикой, волчьей боли.

Череп, это же просто глина. Обломки, осколки глины. Они подвижны, они плывут, скрещиваются, натываются друг на друга. Раскалываются. Трескаются вдоль и поперёк. Кости сложились в крест. Крест надломился. Серый прозрачный лёд под черепом еще не мыслил, но уже страдал. Рот выгалкивал во тьму первую песню. В ней слов не было. Лишь один длинный, долгий крик.

Мать! Услышь мой крик! Мать! Где ты!

Мати... птица... кровь... Матерь Смерть... Душа моя...

Кто я? Какое я живое? Дыра дышит красной болью. Я не хочу в боль. Выплыть! Хлестнуть красным рыбьим хвостом чужие времена! Ползти ящерицей. Я не ползучий гад. Не морское чудище. Где мои крылья? Я сейчас раскину их и полечу. Нет! Мой лоб чугунный! Мой скелет железный! Сочленения костей моих трещат подлыми деревяшками! Я всё глубже вдвигаюсь во смерть. Мне от неё уже не уйти. Я попался. Крепкие тигли сжимают углый череп. Держат в зубах меня, живую лодку. Я ладья. Я живая ладья. Я выплыву в Ледовитый океан.

Нет у меня зубов, нет у меня хвостов, нет лап, нет когтей. Я есмь человек, но я ничего не знаю о том, а знаю одно: я иду головою вперёд во смерть, и, когда я просверлю дыру в красной тьме, я выйду в смерть с другой стороны жизни. Такая тишина стоит среди адских воплей. Кто это вопит? Я? Это мать моя. Она живая. Она кричит взахлёб! Она века напролёт была моим питьём и едой. А теперь она просто огромная рыба, и раздуваются её жабры, и колышутся её плавники. Она плывёт, она кричит беззвучно, и я с ней; и я проламываю собою бок её, и я вымётываюсь из неё густой, липкою икрой её, и я уже не смогу улизнуть от

смерти, от красной воды, в ней потону, от красного неба, оно утонет во мне, и стану им.

Я глубже всунул голову в дыру, и кости хрустнули, облитые кровью, и потекло вино на снег, на лёд, и надломилась кость храма, и лики стали падать ниц, сползать со стен, полились потокам крови, потёками восковых слёз, и ширилась лонная щель, и сдавливали казнящие тиски хрупкие, мягкие моего черепа кости, и боль стала литься в меня, в живой сосуд, наполнять меня, боль дошла мне до рта, до ушей, я кричал внутри боли, а она поднималась всё выше, достигла глаз и заволокла их красным прибоем, и налились алым вином пьяные от боли мои глаза, и перестал я видеть себя и всё вокруг себя; и стал я зреть то, что билось и умирало внутри меня.

Я ввинчивался в красную боль. Я шёл прямиком в красную смерть. Смерть сверкала ножом. Боль разевала красную пасть. Я шёл во смерть, и я знал: смерть теперь будет всегда. Смерть навсегда.

А любовь? Где ты, любовь?! Мать, где ты?!

Смерть, она навеки. Она длится. Люди думают: раз — и кончился. Перешёл границу. Вышел, теменем вперёд, наружу, в россыпи звёзд. Нет. Не дано тебе такого мгновенного счастья. Ты перейдёшь во смерть, и она будет жить, тянуться всегда, длинной тусклой, тоскливой нитью, длиться, наматываться на красный клубок. Красных овец остригли, спряли и смотали красную шерсть. Я девять красных месяцев жил во чреве матери, и вот чрево опало, и выталкивает меня, и убивает меня, и проклинает меня. Изгоняет меня.

Я есмь Время. А я-то думал, Время вне меня. И до него еще надо достичь. Нет. Время это я. Я рождаюсь. Я всегда рождаюсь. Всегда рождаюсь — значит всегда умирать. Родиться насовсем нельзя. А умирать вечно можно. Так положил людям Бог. Он Сам хотел испытать то, что испытывают, умирая, люди. Ему удалось.

Когда Он умирал на Кресте, Он думал: сейчас Мне конец, а Мíру? Разве Мíръ кончится вместе со Мной?

Я вводил Душеньке камфору, я наконец поймал её руку. Рука уже не дрожала. Висела безжизненно.

Вдруг ноги дрогнули, стопы скрючились, пальцы завернулись внутрь. Колени выломались, как у кузнечика. Голова закинулась, затылок застучал о стол. Судороги скрутили её тело, как половую тряпку. Выжимали.

— Достукались! Эклампсия!

Я разминал ей икроножные мышцы.

Кричать она перестала. Судороги захлестнули молчанием её разъявленный, искусанный рот. Кровящие лохмотья губ дрожали. Я не знал, в сознании она или потеряла разум.

— К чертям ваш массаж! Делайте ещё магнезию! Вытащим! Вытащим!

Он всё повторял и повторял это «вытащим», как заклинание, как молитву.

...какой же дурак этот батюшка, ханжа. У роженицы эклампсия, а он гладит её возлюбленные ножки и бормочет. Что бормочет? Да молитвы, видать, свои. Кучу молитв знает, а толку никакого! А вот от скальпеля толк есть! И от магнезии — есть! И от строфантина — есть! И от камфоры — есть! И от всего остального, что мы пользуем в медицине, — есть! Как он этого не поймет!

Да нет. Понимает он всё. Только батюшкам, им же надо обязательно в Бога поиграть. В судьбу. Мол, что суждено, то и вкуси.

Давай, давай, снадобье, перетекай из иглы в живое тело, помогай, действуй! Врачи не дураки. Всё изобретено для спасения человека. Доколе есть врачи, дотоле человек им доверяется. Разляжется на столе, делай что хочешь. Режь меня. Режь мя.

На Севере, в тундре, мне говорили, есть такие речушки: Решмя, Кинья. А это легенда такая. Сослал царь-государь сюда, в леса ледяные, в хвою, от мороза седую, немилую да постылую наложницу. Везли её по рекам северным, где плыли, где волоком ладьи тащили. Устала девица. Приказала к берегу причалить. Встала на палубе расшивы да крикнула: режь мя, кинь мя, воевода, а дальше не поплыву! Тут умру! Убивай! Ну и вот речки так называли. Сказка, конечно. А тут роженица орёт, надсаживается: убей да убей. Да это всё неверная работа мозга, родами помрачённого.

Ничего. Сейчас ещё магнезию. Не повредит.

Вытащим! Вытащим!

Я не маятник. Я не качаюсь взад-вперед. Я торпеда. Это мой морской бой. Неравный бой. Я прорезаю сумасшедшей головой немую толщу неподатливой, твёрдой, чёрно-красной воды. Я не могу свернуть. Повернуть назад. Я вынужден идти вперёд. Обратного хода нет.

Дыра раздвинулась, раздалась, я вставил в неё темя и таранил лбом чёрную пустоту.

И тут вдруг стенки воронки сжались. Я оказался в плотном кулаке.

В кулаке плоти.

Неведомое чудище стискивало живой кулак. Сейчас оно выжмет из меня сок. Кровь. Моя сила, кровь, течёт во мне. Я не лимон, чтобы из меня выдавить всю силу! А кто я? Неужели человек?

Ещё не человек.

Уже не человек.

То, что происходит со мной, происходило до моего рождения.

Нет! Это происходит после моей смерти.

Я уже пережил мою смерть. Она проста. Она несбыточна. И она есть самое настоящее, что только происходило в жизни со мной.

Я бьюсь! Я бесслышно ору. Никто не слышит меня. Ни мать. Ни кровь. Ни весь Мирь, там, за чёрной воронкой. Мне больно! Хватаю ртом куски бытия. Мой красный хлеб. Моё красное молоко. Моё красное небо. Я выпью его до дна. Жизнь красна, а смерть черна. Все разделено. Размечено. Выпито. Сожжено.

Я жил в утробе. Пещера стала мне тесна. Меня омывала красная вода. Она вся вылилась в жадную дыру. Костяной кулак сжимает меня. Не пускает меня. Раздавливает меня.

Он так любит меня.

Когда любишь, пытаешься обнять; присвоить; выпить, съесть. Ты не зверь! Ты не хищная рыба! Ты не змей! Ты скользишь, утекаешь, посмертный пот оплетает тебя горячими каплями. Ты весь в смазке пота и слёз.

И мать твоя, там, снаружи, омывается солью пота и тонет в слезах.

Плыви в океане страдания! Тебе так суждено. Всяк человек через это проходит. Я не Бог! А тебя никто и не просил быть Богом. Бог, Он один, а людей много. Шевелись! Нажимай! Тарань! Рви! Плыви! Выплывай! Спасайся! Только ты сам можешь спасти себя. Больше никто в целом свете.

Твои лёгкие — рваные красные тряпки. Они не могут дышать. Твой рот — красная земляная яма. Его сейчас засыпят мёрзлыми комьями чёрной земли. Вдохни! Глубоко! Глубже! До дна миров! Иди. Вперёд. Только одно счастье и есть на свете — идти вперёд.

Плыть вперёд. Царапаться вперёд.

Пока ты плывёшь и дрожишь, ты жив. Пока ты живёшь, жива и твоя смерть. Без смерти нет тебя. Помни это.

Сердце внутри тебя плещется краснопёрой сорогой. Серебро чешуи казняше отсвечивает красным. Твои руки плывут, от тебя уплывают; это твои рыбы-сироты, ты их кормил, ты их коварно ловил, насаживая на снасть то червя, то блесну. Ты, старый рыбак, пил из горла на берегу красную посмертную водку. Нет! Я ещё не родился!

А ты откуда знаешь, родился ты или не родился? Этого не знает никто.

Что было с тобой до зачатия, ты забыл. Ты помнишь своё зачатие, ибо тебе суждено помнить будущее. Помня своё рождение, ты помнишь времена. Ты принимал на руки Время, оно лезло головкою вперёд из чрева Смерти-роженицы. Ты так устал! Ты же помнишь, как ты устал? И помнишь, отчего. Тебя в заключении били, над тобою глумились. Тебя бичевали. Внутри боли, посреди боли, в хороводе боли и крови рождался ты из утробы Смерти, и на руки тебя принимала Смерть-повитуха, и грудь тебе в рот, красный сосок совала Мать-Смерть, а ты был Жизнь, и махал руками-ногами, беспорядочно, юродиво, бесцельно, телом, красным и скользким, в родильной смазке, пророча людям, сородичам твоим, не рыбам, людям, ты слышишь, людям снова войну, снова краткое замирение, на час, на два, а потом опять войну, и дожди красных слёз, и красную грязь под ногами, и вырытые в красной глине глубокие могилы, и это слово, одно слово, запекшееся густой кровью на искусанных губах роженицы: ВПЕРЁД!

Мать-Смерть, ты уже не боишься её. Ты уже понимаешь: она одна-единственная, на веки вечные родная, неизменная мать твоя. Смерть, возжеленная твоя, нежная твоя! Жизнь это боль. Смерть это покой. Там, в ней, в её широкой зем-

ляной, костяной груди, звучит одно лишь слово. Ты не сможешь повторить его среди живых. Оно слишком страшно. Хотя оно такое простое, всего пять звуков. Пять подземных звуков, их надо вытолкнуть изо рта в тот миг, когда ты просверлишь теменем чёрную дыру бытия и выскользнешь из него вон.

Ты много раз жил на свете. Ты окутывался чёрной кровью и пил в застольях красную кровь. Ты вставал на колени перед небом широким на застывшую вечным льдом кровь золотую. Да, много раз ты переплывал жизнь из конца в конец, а смерть — одна.

Ты хочешь скорее вплыть ей в руки. Скорей достигнуть её.

Твоя мать тоже устала от боли. Она хочет быстрее обнять тебя. Мёртвого. Уснувшего. Крепче обнять, ко груди прижать и так, обнимая тебя, закрыть глаза и вместе с тобой медленно, торжественно опуститься на усыпанное раковинами и крупным жемчугом дно. И вдохнуть красную воду до дна широко расправленных, алых листьев утрудившихся лёгких. Она устала дышать. Она тоже хочет умереть. С тобою на руках.

Обниметесь оба. Забудешь всё горькое. Полынью пахнет морская вода. Лёд плывёт вдоль волны.

Ты и мать. У тебя глаза старика. У неё глаза девчонки.

Огромное Время укрывает вас обоих, нежно, слёзно обнявшихся, гигантским посмертным платом ледяной воды.

Я глядела на них снизу вверх. Два лица склонялись надо мной. Одно жёсткое, ненавидящее, состоящее из кирпичной твёрдости углов, из резких морщин; их прорезал в небритой коже давний скальпель, бритва давно не касалась подбородка и острых скул. Другое нежное, скорбное, борода вьётся шёлково, озёрно, водорослево. Она вьётся тишиною, и я вижу, как бледные губы шевелятся. Они бормочут. Понимаю: они шепчут молитву. Кто-то верует в Бога, кто-то смеётся над Ним. Это уже всё равно.

Бога нет, есть только огромная боль. Боль, и больше ничего.

Я слышу перебранку людей.

Эти два человека, их лица плывут надо мной

волосатыми Лунами, в белых врачебных шапках, у злого в кривой улыбке зияет во рту дыра, зуб или выпал, или били в лицо кулаком и зуб выбили, всякое бывает, эти два человека надо мной бьются мыслями, воюют глазами. Сражаются острыми ножевыми зрачками. Разрезают воздух, досягают живыми лезвиями живых лицевых тканей, мышц, ресниц. А я тут лежу. Дура баба. Утонула в боли. Болью захлебнулась. Ничего. Моё Время сейчас закончится. И я перестану тут лежать. Меня тут не будет. Не станет меня. Разве может живой человек бесконечно выносить такую боль?

Они хлещут друг друга плетями криков.

Бросают друг в друга крики, как сколы острого красного льда.

— Эй! Ты!

— Я вам не ты.

— Если судорог сейчас нет, это не значит, что ты... вы справились с эклампсией!

— Что вы предлагаете? Сейчас, во время изгнания плода, распахать ей грудь и делать надрез возвратного нерва?!

— Ты! Умник! Я ничего не предлагаю! Скажи спасибо, что плод идёт головкою вперёд!

Вперёд. Вперёд. А что, бывает, плод идёт не головкою, а ножками вперёд? Или спинкой? Тогда хирург берёт в руки нож. Острый нож. Разрезает живот. Разрежьте мне живот! Выньте моего ребёнка! Пусть он живёт! Убейте меня!

Устала я!

Раздвинулись хрящи. Лопнули по шву угрюмые скалы.

Взорвались изнутри горы и пустыни.

Я земля, и я даю трещину, и вот в трещину хлынула вся моя кровь, какая была во мне. В моих могилах, пещерах, подводных забытых городах. Оживают мои вулканы, изливают красную лаву, она течёт у меня по плечам, по лбу, подбородку, щекам, груди, голым ногам.

Я в западне. Сейчас я мать, а через миг сын, а через век дочь, неуничтожимы качели времен. Мы, страдая, теряем себя и обретаем себя. Под моей головой раздвигается, ломается, рвётся боль. Я прохожу её насквозь. Она исчезает. Я её забываю. Плоские зелёные, синие льдины скорбно плывут вдоль снежного берега. Я вода. Я пле-

щусь. Я лёд. Ледяной крест. Ледяная пила, и мной можно надвое перепилить войну, ненависть, боль.

Боль умрёт. Боли больше не будет.

Поцелуй меня, боль! Я так долго молился тебе. Меня учили: страдание это испытание, оно на-сущно, оно наш хлеб. Красный хлеб долгого, дли-ною в жизнь, Причастия. Я настрадался. Я боль-ше не хочу страдать. Я выпил мою боль. Я стал могучим, налился живым железом. Стальные мышцы оплели красные, раскалённые железные водоросли. Череп гудел медным бубном. Весь я стал тяжёлым, лунным, солнечным, каменным; охотничьим топором, первобытным металлом. Я стал звездой. Испускал красные лучи. На меня извне, из глухой черноты катились планеты, пу-лями летели полоумные звёзды. Клятвы умерли. Язык сгорел. Последняя судорога смертно скле-енных кровью мышц выгалькивала меня из Вре-мени, выпрастывала, изымала, выжимала, била в меня, чтобы я скорее, скорей, вот сейчас, крас-ной рыбой вылетел в Вечность.

...мать, родная! Помоги мне! Я один не смо-гу! Не справлюсь!

— Тужься! Тужься, чёрт тебя подери! Ты! Оживай!

Николай залепил роженице звонкую пощё-чину.

— Тихо... Тише... Что вы делаете... С ума сошли...

Я схватил Николая за руку.

Он вцепился в моё запястье и оторвал мою руку от своей руки, и отбросил в сторону, так, с отвращением, прочь отбрасывают труп, ске-лет, сгнившую гадкую плоть.

— Да поди ты к чёрту! Она же не может ро-дить! Умрёт сейчас! А ты сюсюкаешь! Не му-жик ты! Баба! Баба!

Кровь ударила мне в лицо, в затылок, и вышиб-ла из меня остатки моего измученного разума.

Шагнул к нему. Схватил за плечи. Потом за ру-ки. Заломил руки ему за спину. Стал выламывать в локтях. Он напряг мышцы. Железные узлы мышц. Голодный, а сильный какой. Я оказался выше и крепче, шире в плечах. Ломал его, пытал-ся повалить на пол. Девочка с керосиновой лам-

пой в руках попятилась. Её лицо сделалось блед-ным, цвета камчатной свадебной скатерти. Цвета крахмальной лазаретной простыни. Господи, да здесь уже давно никто не крахмалит бельё. Крах-мала нет. И некому крахмалить. Лишняя, смеш-ная роскошь.

Мы боролись страшно, дико. Два зверя. Один голый, другой волосатый. В белых хала-тах. Ненависть наконец пробила головёнкой тугую мембрану воспитанности, вежливости, благородства и выскочила наружу, вон, под холодное звёздное, иглистое небо ужаса. Близкого убийства. Последней крови.

Роженица валялась на столе в крови, задыха-лась, теряла сознание и опять бессмысленно об-ретала его, уже ничего не соображала, а мы дра-лись, били друг друга, валили друг друга на пол, калечили друг друга, ломали друг другу кости и рвали жилы, вонзали друг в друга чугунные кула-ки, кулаки летели в лица, лица разбивались,плы-ли красными лепёшками, глаза подплывали, изо рта у него катилась капля чёрной крови, у меня щёки и челюсти были располосованы красными разводами, я дал ему подножку, он повалился на пол и меня за собой потянул.

Упали оба. Пыхтели. Матерились. Он ухватил меня за плечи и ударил затылком об пол: раз, дру-гой, страшно, сильно. Разбивал мне затылок. Убивал меня. Я переставал видеть Мирь.

Мы тут, на полу, убивали друг друга, а на хирур-гическом столе лежала и страшно рожала ребёнка Душа моя, моя бедная Душа, и мы забыли о ней, а она была тут, над нами, она парила в воздухе, ле-жала на облаках, на окровавленном стекле, на выпачканных в сгустках жизни простынях, мы занимались нашей смертью, а она молилась о смерти своей, и мы, все четверо, Николай, я, Ду-ша моя и ребёнок, шли, бежали, задыхаясь, через смерть и ненависть к жизни.

Жизнь сияла смертью. Смертью последней.

Я переставал их различать. Они двоились, тро-ились, умножались в моих слепых от крови и слёз глазах.

— Ты... Сдохни!.. сволочь...

Он вцепился в ворот моего халата, рванул его, разорвал, вместе с ним и рясу порвал на груди, и наружу вывалился нательный крест, и звякнул об пол, и он устался на крест, выта-

рашился, стал глядеть долго, ледяно, приварился остановившимся, диким взглядом к моему нательному медному кресту, чуть позеленелому, к чуть красноватой старой меди, иззелена-плесневелой, будто паутиной затянутой, застыл, всё смотрел и смотрел, а я глядел на него, на его залитое кровью лицо, и это невозможно было, чтобы мы тут убивали, убили друг друга, в виду роженицы, в виду тяжелейших в целом свете родов, мы лежали на полу рядом со смертью, и мой убийца, великий доктор, врач от Бога, великий хирург, все смотрел и смотрел на мой крест на груди, будто пил воздух вокруг него, рот его открылся, я слышал хрипы, я молился: остановись! мы оба тут, и мы оба люди, пока ещё люди, ты слышишь, слышишь.

Он подполз на животе ко кресту, валявшемуся на полу.

Белый халат пачкался в пыли и крови.

Пальцы, крючась, протянулись и схватили крест. Сжали.

Он сжимал крест в кулаке. Так стискивают похищенный алмаз. Драгоценность.

Чёрный грубый гайтан больно врезался мне в шею: так сильно он тянул мой крест к себе.

К губам.

Я поздно догадался: он хочет прижаться ко кресту губами.

Он вытянул шею, как гусь. Ещё ближе подполз, на локтях. Его голова оказалась вровень с моей растерзанной грудью. Он разжал руку. Крест лежал на ладони мелкой медной рыбкой, мальком. Он подтянул крест ближе к себе и прижался к нему окровавленным ртом. Крепко прижался, надолго. Так лежал, с прижатым ко рту крестом, долго, бесконечно крест целуя.

Отнял от креста губы. Глядел на меня слепыми, плавающими глазами. Зрачки широкие, будто белладонну в глаза закапали, для исследования сосудов глазного дна.

— Ну что смотришь?.. — Прохрипел. Просипел. — Мы с ума сошли, да?.. Да... Брось... Ничего не говори... Я... первый раз в жизни крест поцеловал. Я не знаю... почему... Я не хотел... Кто-то за меня... решил... захотел... это просто чёрт знает что... ничего не понимаю. Правда. Не объясняй... ничего... и я не хочу... просто так вышло... так получилось... так...

Я вздохнул. В груди kloкотал чужой, заключённый воздух.

— Прости...

Он положил мне ладонь на губы.

— Молчи, я же сказал... Какие уж тут слова...

Девочка-санитарка, в кровь кусая немые губы, выше, ещё выше подняла керосиновую лампу. Пламя угасало. Керосин догорал.

Над нами парила, летела в небесах лазарета моя Душа.

Снизу вверх, с пола, мы смотрели на легчайшие облака больничных простыней, на блеск стеклянных торосов, на её руку, она бессильно свешивалась со стеклянной плоскости вниз, исколотая иглой, вся в синяках, на её раскинутые колени, на бёдра, напоминающие разверстые лепестки громадной посмертной лилии, на кочерги локтей и яблоки голых пяток. Там, в небесах, лежала и плыла женщина, и мы не могли ей помочь; ей мог помочь только Бог, и мы оба стали надеяться на Бога, и молиться ему, и просить у него прощения, и верить, и плакать.

Ну, бросилась кровь в башку. Красное вино. Опьянел я. Захмелел он. Мы оба спьянились собственной кровью. С кровью шутики плохи. Если она восстанет волной — всё сметет на пути. Ты перестанешь быть человеком.

Вот я и перестал.

Он тоже перестал. Я злорадствовал: не я один.

Оба звери. Оба враги! Навек, на миг — а какая разница.

Я крепко бил его. Он оказался тоже крепкий орех. Дрался знатно. Я думал, он умоленный батюшка, церковный хлопик. Только и знает, что перед образами лоб крестить. А он так пошёл, пошёл на меня, что тебе буря. Ломал меня, крушил. У него бицепсы железом налились. Мы оба по полу катались. Кто кого повалил, не помню. Оба враз рухнули. Били вслепую, куда ни попадя. Молотили кулаками. Так до смерти бьют. Не на жизнь колошматились, а насмерть. Такое бывает. Я не думал, что такое будет со мной. Ну да, я в детстве дрался, да кто не дрался дитём. А тут! Нарочно не придумаешь. Два врача. Два именитых хирурга. Два узника. Презренных заключённых. На северах. За колючей проволокой. В нищем лазарете. У ложа роженицы. Роженица — нам обоим

то ли жена, то ли шалава, то ли сон нам, двум мужикам-дуракам, про неё привиделся, страстный, страстной.

Лупили, лупили друг друга, а потом я оскалился да как разорву на его груди рясу, да как крестик его крестильный из-за пазухи выкатится и брякнется об пол. Я так и застыл. Что со мной сделалось? А пёс его знает. Я не знаю. Заледенел я весь. Лежу. Живой крюк руки к медному чужому кресту тяну. Цап! В кулаке сжал, а изнутри он, крест, мне всеми острыми краями как в мякоть ладонную, в пальцы воткнётся! Лежу. Крест сжимаю. Батюшка, весь в крови, рядом лежит, на меня глядит.

А над нами лежит роженица наша. Не ревет, не стонет. Молча валяется. Тихо.

И мы тихо лежим.

Мы вроде как на земле, а она вроде как на небе.

Я разжал кулак и припал к зелёной меди кровавыми губами.

Соль на губах. Соль на щеках, в глазах. Всё есть соль. Солёно всё. Весь человек насквозь просолён. Солоней солёной рыбы. А мы ещё сами себе врем, что любим! Как ещё, дьяволы такие, детей зачинаем! На что мы их в мир, из животов наших жён и любовниц, выпускаем?! Они рожают, выталкивают ребятёнка на землю. Уж лучше бы он век в бабьем брюхе сидел! В камень превратился. Таскала бы она этот камень всю жизнь. Болезнь есть такая у баб. Редкая. Литопедион называется. Яйцеклетка зацепляется не за стенку матки, а за брюшину, за кишки, за какой угодно потрох. Плод растёт в брюшной полости. А потом обрастает слоями извести. Так, слой за слоем, на нём нарастает забвение. Человеческий камень. Бульжник. И женщина носит его. Охает, стонет. Не знает, что у неё внутри. Тяжело ходить. Живот болит. Башка кружится. А камень растёт.

— Господи... отведи грех от нас...

А, это батюшка взмолился. Понятно.

— Господи... дай матери разродиться...

А если у неё внутри каменюка?!

— Господи сил... с нами буди... спаси, Блаже, души наша...

...мне помогала бедная моя мать. Помогали мне отверделая матка, все перекрестья голодных мышц живота, лонные кости, они расходились

вширь, дыра в смерть давно уже превратилась в круглое безбрежное жерло, звёздная гладкая чернота отвечивала кривым бездонным зеркалом, я видел в нём себя, мою макушку, ходуном ходящий живот. Живот выталкивал меня, я услышал далеко, на том свете, дикий крик. Моя мать кричала. Она звала меня. Звала на свет. Я хотел стать стрелой и вылететь вон! Последняя попытка. Толкаю. Бьюсь. Я красная рыба. Подо мной красный лёд. Бью в него хвостом, боками, серебряной ледяной головой.

Бью.

Пробиваю.

Вылетаю!

Лечу!

Слышал дыхание женщины, что рожала меня.

Она, безумная, радостная, уже не могла кричать: она улыбалась. Крик перелился в улыбку. Раскинув ноги, раскинув руки, она медленно тонула в толще красной боли, и сиял, переливаясь изнутри кровавым перламутром, подводный купол её вселенского, измученного живота, красные морские хвощи разымались, обвиняли сугроб её брюха снаружи, исчерчивали красными полосами, так судьба её бичевала, и кто был её палачом и убийцей, да вот же он, она увидела, она догадалась, это его она рожала, это он с боем и ужасом шёл на свет из тьмы, и он сжимал в кулаке красный нож. Мать поняла: вот сейчас оттуда, из глубины боли, он всадит нож в неё, и лезвие насквозь пройдёт жизнь, и смерть, и будущую веру.

И я увидел убийцу с перекошенным то ли в смехе, то ли в рыдании ртом, с острым рыбьим ножом в руке.

Меня выгоняли из Рая.

Меня изгоняли из Ада.

Меня выталкивали из жизни.

Меня избивали, лишая смерти.

Где был я? Кто я?!

Человек ли я? Человечество ли я?!

Прощай, моя пещера. Больше не буду жить в тебе. Прощайте, клешни омара, щупальца осьминога, частокор рыбьих зубов. Чудовища, живущие в синей фосфорной глубине, прощайте. Во-

да катит колесом величиною с небеса. Сейчас вода подомнёт меня. Я утону. Я знаю. Вода захлёстывает Мирь. Снежные курганы. Палачьи топоры льдов. Ядовитые стрежни. Ржавчину смиренно пошедших на дно кораблей. Леса, обращённые в пепел. Земля беременна горами. Кармином и суриком крови расписаны стены зимы. Вот сгоревшая роскошь парчи. Невнятный лепет сломанных игрушек. Чёрствая корка во старых челюстях, шамкающих, бессильных. Вода беспощадна. Казнит серебряным ливнем. Ей наперерез катит красный вал крови. Живая кровь. Живая вода. Живой Рай. Живой Ад.

Ад и Рай. Это я, люди. Это я один и есть.

...плод накатывался на плоть сверкающей стеной воды, бил в лучезарный купол солёной морской пеной, безумствовал, плясал, скрючивался, нырял, расплёскивался вширь, из перечного зерна обращался в тяжёлую Луну, ходом повторял ход Времени, плод давил на Время планетным весом, и Время прогнулось под его лбом и грудью; он обхватил Время крепко, неразъёмно стеблями рук, по его голому красному телу пошли огни, из припухшего рта его матери доносилась сумасшедшая песня: мой сынок, моя молния, моя гора, мой океан, мой грех, моя клятва. Не уходи, ребёнок Рая! Я твоя кровь! Я теку, истекаю из всех оврагов, всех расселин сожжённой земли! Я твоя последняя свобода! Последняя ласка!

Снеговые тугие бинты, костяные шины и лангетки, полярный гипс, скальпели древней грозы. Сухожилия перевитых приречных ветвей. Горящие головни убитых, забытых военных тел. Мать, я всего лишь рыба твоя! Ты океан мой, а я твой красный меченосец! Сукровичная ржавчина и небесная чистота встречаются, сливаются в бешеном потоке. Теку, влекусь к Безумному Океану — туда, где однажды сольёмся мы все воедино, славные и неведомые, любящие и бессердечные, мёртвые и живые! Я меченосец, мой хвост красный меч, моя узкая голова опасный нож. Я скальпель! Я излечиваю и караю. Казню и оживляю. Я разрезаю надвое моё Время — на выюжное, дикое забвение и на неведомое, в золе чужого костра испечённое, страшное Будущее, не знаю его, только вижу, оно пугает меня, валется перед мной узором высохшей кожи

змеи, изжелта-бледным, вынутым из земли коровым черепом!

Пробить! Пронзить! Я живой! Я сражаюсь! Воюю! Вы меня не убьёте! Теменем, висками, надбровными дугами, железным смеющимся лицом я, солдат, бью в ледяной заберег, в плывущую блинами голубую шугу, в зазубрины и веера торосов, а берег голый, как я, и весь засыпан застылыми слезами близкого, как смерть, снега, и красные нитки водорослей вяжет обезумевший ветер, нацепляет на спицы солнечных, лунных лучей. Оборвётся дорога. Умирает путь. Власть мороза ставит белым огнём клеймо на лоб и подглазья. Я солдат, и я меч, и я бью, моя кожа, моё мясо, мои кости, мои колени и голени, лодыжки и ступни, рёбра и локти бьют, бьют, разят горы воды, встающие из глубин древности, горы звёзд, что валются с грядущих небес. Красные льдины перепиливают меня. Я кричу. Мать кричит.

Я слышу, она кричит мне: ВПЕРЁД!

Моя заповедь. Моё назначение. Моя океанская толща. Мой простор. Моя воля. Полоумным огнём пылают небеса; зенит есть пустой звенящий кувшин, вся воды из него пролилась на землю и стала Временем невозвратным. Хищное Солнце по мёртвой пустынной, больничной простынке неба жадно летит. Это не Солнце; это лазаретная чёрная печать на простыне, и расплылась от жалких утлых стирок, и не разобрать буквицы и чужие слёзы. Я пью спирт воздуха. Я пью вино крови. Пью воду грядущего крещения. Я не знаю, что это. Я просто слышал там, в животе у матери, дальний медный звон. Я красная рыба, я раздуваю жадные жабры, скальпель молнии разрезает моё масляное, мокрое тело от затылка, вдоль хребта, по спине. Глаза мои сомкнуты. Жмурюсь крепко, изо всех сил. Я не хочу видеть, как я умру. В ушных отверстиях вода, она спасает меня от ужаса последнего крика. Не хочу ничего слышать. Я слышал и видел уже всё на земле. Прошрое. Грядущее. То, что настанет после гибели земли и людей. Время не исчезнет. Оно просто скрутится пергаменом. Совьётся в страшный кожаный свиток. Тот, кто будет ещё жив и учён грамоте, прочитает:

НЕТ ВРЕМЕНИ.

Распахнута лишь одна дверь. Пробита одна дыра. Рот мой разъявлен. Он кричит. И рот матери

моей раскрыт. Он тоже кричит. Мы кричим оба. Вовим. Задыхаемся от крика. Крик свободен. Крик это мы. Он вечен. Мы вечно так будем кричать. Нас никто не остановит.

...катись бейся выскальзывай стремись
 ...борись плачь ори
 ...иди прокальвай собой безумие и мудрость
 ...выпростался из ужаса, мрака — разрубил Ад красным тяжёлым мечом — плакал в голос, скользкий, уродливый, в горечи, в меду, в кровавом клее, в красных дождях — алое знамя — вопящий — на ветру бьющийся — перепачканный болью — чистейший, самоцвет, грань, слеза — чище слёзного перла и рыдающего рыбьего глаза — вопит, сверкая голыми дёснами — жуткий — лютый — волчий — василиск — ноги-мясные-крючья — руки-липкие-ласты — жабры-перламутр-мятник — слезай, облезай, вся до монеты обсыпья, чешуя страданья, ты отжила свой век — крутись в кольца, ползучее слепое тело — смерть явилась, а это жизнь — орёт — хрипит — блажит — чудит — вдыхай до дна — вдыхай весь Мирь — вдыхай улыбку Бога и все крики людей — вдыхай кровь и радость — вдыхай любовь — люби — всегда, люби — всегда, люби — всегда!

...не скроешься. Не спрячешься. Ни за шею. Ни за рёбра. Ни за позвоночник. Ни за тёмное красное пламя жабр. Ни за крик.

Ты вдохнул тьму, а выдохнул свет.

Пламя!

Вопи. Безумствуй. Бей мечом. Над красной водой несётся в небо твой огромный крик. Твоя первая песня. Первая молитва. Вонзай её красным мечом, первую, наисвятейшую, беса навек изгоняющую из Рая, войну разящую, ненависть казнящую, в клубки вечных туч, в метельный простор, в колючую проволоку осенних дождей, в неисходный морской прилив. В седину пурги. В синеву озёр. В алый закат. В боль без границ. В жизнь без дна.

Умереть. Родиться. Не понять.

И не надо.

Мы оба поднялись с пола. Шатались. Будто марш-бросок я бежал, по пересечённой местнос-

ти, и ноги в сапогах набрякли, мозоли сочились сукровицей, суставы ныли, натруженные; будто оба вышли из боя, и правда из боя, да разве можно бой вести братьям, кто бы нас остановил, кто бы проклял, кто бы... Я словно бы вбежал сюда, в лазарет, с мороза. Санитарка стояла в углу операционной с гаснущей лампой в руках.

— Поди подлей керосину!

Девочка не шелохнулась.

Я посмотрел на её лицо. Оно застыло. Она обратилась в камень.

Каменная девочка. Каменная лампа. Каменный огонь.

Стой, мысленно я сказал ей, на сколько уж огня хватит.

Это была не операционная, а спальня. Просторная, обширная пустая спальня, стол да стеклянный шкаф, для Матери-Смерти. Я перевёл глаза на лицо Николая. Он глядел на роженицу, крепко, в тонкую нитку, стиснув рот. А где лицо Души моей? Вот я уже глядел ей в лицо, и вдруг, на моих глазах, не стало её лица, на месте её лица разверзлась сначала пустота, а потом всё белое пустое, снежное поле заполнил, закрыл чёрный, красный, беспощадно, до отказа раскрытый, распяленный рот. Рот-дыра. Рот-вулкан.

Рот-пропасть.

Крик я услышал уже потом. Время спустя. Много времени прошло или мало, между созерцанием её лица и слышанием крика, я не помнил. Дикий крик разорвал мне ушные раковины, и на плечи мои полилась кровь. Крик хлестал по мне забытой плетью. Я подумал неистово: так бичевали Бога твоего. Я видел страшный, разорванный криком рот, и не так хотелось его заткнуть, закрыть, чтобы немислимый крик перестал выходить наружу. Будто она была печь, и из неё вырывалось пламя, и сейчас языки пламени выбегут в избу и подожгут её, займутся огнём половицы, двери, оконные рамы, и сторит изба в одно мгновение, и надо закрыть открытый огонь печною заслонкой. Я шагнул и, не сознавая, что делаю, прислонил, а потом крепко прижал ладонь к этому кричащему рту, и её зубы впились мне в ладонь, и я сам вскрикнул. Она забила под моей прижатой к её рту рукой, как насаженная на кулан, свежельвовленная рыба, билась, билась, пыталась выпростаться из-под

меня, моя рука, должно быть, казалась ей всем моим большим, вусмерть избитым, горячим телом, она билась так, будто я навалился всем телом на неё и пытался раздавить её всем собой, заглушить ужас крика, умертвить свою тяжестью, чтобы она задохнулась.

Она и стала задыхаться. Её лицо стало синеть под моей ладонью. Я увидел это и опомнился, и отнял от её орущего рта руку, и гладил её по мокрой щеке, и освобождал её от складок рубахи грудь, чтобы ей вольнее, свободней было дышать. Вся её грудь, весь голый, на виду, не укрытый простынями жуткий живот были покрыты пете-хиями, мелкими кровоизлияниями, кровяными узорчатыми разводами: вспышками красных огней на белой зимней коже.

Она на миг замолчала. Мне почудилось, глаза её поглядели на меня осмысленно. А потом опять судорожно вздохнула и закричала.

Я упал на колени перед операционным столом.

Я понял, Время давно уже остановилось. Не было его, я давно об этом догадывался. Никакие люди не заходили в операционную, никакие двери ни вблизи, ни вдали не хлопали. Единственное, что оставалось, это молиться, и я начал молиться.

А она кричала так яростно, так невозможно, люди так не кричат. Я не видел, как рожают дикие звери — медведицы, волчицы, но я принимал роды у коровы, и корова мучилась, и даже плакала, крупные слёзы выкатывались из её сливовых блестящих глаз и струились по шерсти, капали с морды вниз, но корова не мычала, она молчала, смиренно, тихо принимала страдания, назначенные Богом. Душа моя! Потерпи! Сейчас! Сейчас!

Я уткнулся лбом в столешницу, укрытую толстым стеклом. Стекло треснуло. На полу были разбросаны осколки. Я, не думая, цапнул с пола осколок и сжал крепко. Он вонзился мне в ладонь. Я хотел мелкой болью телесной, кровью, стеклянным жалким укусом заглушить боль от её вездесущего крика.

Так, упираясь потным лбом в край стола, я возговорил:

— Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к тебе притекающих... Зрим тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего... Господа

Исуса Христа... Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши... Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему... и умиленно сей лобызающе... молим Тя, всемилостивая Владычице...

Я задыхался. Роженица кричала неимоверно, дико.

На Николая поглядеть я боялся. Нельзя мне было сейчас на него глядеть.

Мне надлежало глядеть только на бедную Душу мою.

Догадывался я: подходит край великих родов. Эти роды, да, были воистину великие, в них вместилось всё: и страдания, мученья всех, не только рожающих женщин; вся война в них билась и вопила; вся война, нами пройденная и нами не пройденная; всё совокупное преступление, нами, грешными, совершённое и не совершённое. Из края в край в тех родах было пройдено нами наше Время; да, так, от края до края.

А что там, за краем, да Бог весть.

Да всё равно.

Мне всё равно.

Что суждено.

Край! Скоро! Подожди! Потерпи! Ты молиться не можешь, так я за тебя буду молиться!

— Нас грешных, осужденных в болезнях родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи... младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби... избави... Даруй им здравие и благопомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут... и питающия их исполнятся радостью и утешением... яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенцев и ссуших Господь совершит хвалу Свою... хвалу... хвалу Свою...

Роженица возвысила голос, и крик пронзил мой мозг и расколол череп. Я не мог молиться. Вскочил на ноги. Один рот, разверстый пропастью рот я видел там, где раньше было её красивое, любимое лицо. Визг ввинчивался в потолок и раскалывал его, потолок пошёл крупными трещинами, так старинный холст идёт кракелюрами, слой масляной краски трескается и испещряет всю тёплую поверхность картины скорбными морщинами. Осыпалась штукатурка. Громко треснуло бревно в срубе, будто в операционной

раздался выстрел. Там, далеко, люди по-прежнему мучили людей. Братьев. Били их, глумились над ними. Выстраивали их в ряд на морозе, били по щекам, а потом заставляли вставать на колени в снег. Командовали: принесите воду в вёдрах! Воду несли. Крик раздавался: обливай! Водой несчастных обливали. Потом с площади на берег моря уносили ледяные трупы. Зачем человек так делал с человеком? Я видел это, и я не хотел бы стать женщиной, чтобы в наши времена рождались дети на свет. Но мужчины зачинают, а женщины рожают, и Господь не командует нам с небес: прекратить продолжать род человеческий! Нет. Он велит нам всё продолжать. Длитель. Кровью плакать, а длительно.

Горе тем, кто будет рождавать и питать сосцами в те времена. Горе тем. Горе тем.

Визг поднимался всё выше. Вышел сквозь потолок и крышу на простор. Разнёсся по белой шкуре, пустыне тундры. Залетел за колючую проволоку. Полетел над морем. Женщина плакала безумным, необъятным криком обо всех, кто жил на свете, кто странствовал, кто не знал, где приклонить голову, что поесть из чужой дающей руки; она плакала криком обо всех нерождённых, обо всех покойниках, крик был её молитва, её исповедь. Мне она исповедалась. Мне. А может, Матери-Смерти самой.

— О Мати Сына Божия!.. — Я сам плакал и глотал мои слёзы. — Умилосердился на матери сынов человеческих и на немощных люди Твоя... постигающая нас болезни скоро исцели... надлежащая на нас скорби и печали утоли... и не презри слез и воздыханий рабов Твоих... Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею припадающих... в день радости и избавления... избавления... прими благодарная хваления сердец наших!.. Вознеси мольбы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего... да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость... милость... милость Свою ведущим имя Его... яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердную Заступницу... и верную Надежду рода нашего... и ныне, и присно... и во веки веков...

Я хотел выдохнуть: аминь!.. — и не мог.

Крик ввинтился мне в череп, в лоб, вышел из затылка, поднялся над теменем. Обнял меня,

обхватил крепко. Я не мог дышать. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я попросил Господа: Господи, избавь меня от созерцания такого страдания, возьми меня к Себе!.. я согласен умереть, Господи, на руках Твоих, сию минуту, сейчас!.. — и тут наступила вокруг меня такая глухота и пустота, что я думал, я лечу в бездну.

Я летел в бездну, и не было ей конца и начала, и там, в бесконечной и безначальной бездне, наступило время иных звуков, глухого, тёмного и смутного шевеления, кряхтения и бормотания. Кто-то тихо плакал, очень далеко, на излёте тундры, на исходе моря. Кто-то нежно смеялся, там, за облаками. Кто-то стонал в бессознании, и я подумал: Душа моя, — но не мог шевельнуться, чтобы встать с колен и обнять её, и помочь ей, и заплакать над ней. Я шептал себе: а может, она умерла, а может, ты умерла, моя Душа, и ты никогда больше не вернёшься ко мне; а что я буду делать без моей Души? Мирь и жизнь не нужны мне без моей Души.

Настала великая тьма. Тьма кромешная. Это девочка с лампой вышла вон, чтобы подлить в лампу керосину и оживить её. Я ничего не видел во тьме. Потом проблеснул край фарфоровой раковины, и серебряный черенок кюветки, и прозрачный купол кюветы, и скомканые и брошенные на стул резиновые перчатки. Двигались тени. Раздваивались фигуры. Это всё был один человек. Он шагнул к столу с неподвижно лежащей родильницей, наклонился над ней и вытянул вперёд руки.

Вошла санитарка с лампой, накормленной керосином. Медовый, густо-золотой свет озарил всё вокруг: операционный стол, хитро изогнутые инструменты, серую вату, корнцанги, контейнеры для кипячения шприцев и скальпелей в стеклянных шкафах, похожие на стальные детские гробы.

Стоя на коленях, я видел, как человек берёт на руки нечто смуглое, красное, шевелящееся, кровавое, живое, и это живое крючится, дёргается, сгибается и разгибается, кряхтит, потом вздувается шарами и углами неведомой плоти, расширяет первым земным воздухом утлые рёбра, и вылетает крик, и я не успеваю понять, длинный он или короткий, сияющий радостью или полный ужаса.

Новая плоть кричит. Старая плоть молчит.

Человек явленный кричит о себе, кричит на весь Мирь: вот он я!

А мы слушаем новый крик и плачем. И, делать нам нечего, слушаем, слышим.

Я, слушая крик, медленно поднялся с колен. Молитвы остались позади. Впереди была только жизнь. И только вдоль жизни слёзы текли.

Я смотрел на Душу мою. Она лежала спокойно, ноги её, прежде широко и бесстыдно, страшно раздвинутые, были сдвинуты, плотно прижаты друг к другу и укрыты почти прозрачной, в кровавых пятнах, простынёй.

Рядом с ней стоял человек. Врач. Николай. Он держал на руках ребёнка.

Я смотрел на ребёнка. Я видел ребёнка.

— Вышел послед?

Мне казалось, я громко спросил, а вышло, прошептал.

— Плацента отделилась нормально. Пуповину я перевязал.

Он всё сделал, пока я стоял на коленях и молился.

— Где плацента?

— А вам она зачем? Отдал собакам.

— Тише! Она услышит!

— Доктор, я думал, я разговариваю со взрослым человеком. А вы как дитя. Нет, хуже ребёнка. Опомнитесь! Мне кажется, нам обоим...

— Пора на войну, — закончил я.

— Нас никто туда не пустит. Мы здесь нужнее.

— Мы здесь рабы.

— А на войне?

— А на войне мы свободны. Мы идём в бой и умираем свободными.

Я сделал шаг, другой к человеку с ребёнком на руках.

На лежащую Душу мою старался не глядеть.

Боялся увидеть недвижимое ледяное лицо.

Младенчик на руках Николая крочил тощие ручонки, сучил ножками, сгибал и разгибал крохотные острые коленки. Саранча. Цикада.

— Какой красавец.

— Бросьте. Не смешите. Синий уродец, и рот как у клоуна, огромный. Хорошо, беззубый. А то палец откусил бы, раз-два, и в дамки.

— Ребёнок не волк.

— Любуйтесь на здоровье.

Николай хлопнул ребёнка по заду и поднёс ближе ко мне. Его туманные глаза были словно залиты жемчужным молоком, затянуты позёмкой. Он весь с виду был скользкий, липкий, масляный, покрытый странной смазкой, смесью сукрови, лимфы и таинственных жизненных соков, у которых не было имени.

— Красавчик, что и говорить!

Я протянул руку и нежно, как только мог, коснулся пальцами масляного плеча, блестящих масляных рёбер.

Перевёл взгляд на Душу мою.

Она широко открытыми глазами смотрела на меня. Как я трогаю ребёнка.

Рот её был уродлив, крив, он вспух и отёк, в запекшейся крови, в отметилах зубов.

Милая. Как же ты мучилась. Но ведь всё позади. Всё. Всё.

Она смотрела на меня, а я смотрел на неё и слеп; её лицо сияло ярче звезды в заиндевелом окне, там, за разнотравьем морозных узоров, за белой крапивой и снежной лебедой.

Что толку, если я сейчас скажу ей, как я люблю её?

Мы, двое мужчин, стояли над её родильным ложем и держали на руках её ребёнка.

— Мальчик?

Я был глуп, слеп, улыбался и дрожал.

Я только что родился.

— Мальчик.

За окнами тихо занимался медленный, страшный зимний рассвет.

Полоса алая, полоса зелёная, ядовито-изумрудная, полоса чёрная. Таково было наше небо.

Оно здесь не сияло. Оно просто ложилось слоями цветных страшных бинтов, страшными квадратами потусторонней марли. Слоилось, налегало, отступало, опять надвигалось. Если горизонт на рассвете алый, точно жди снежной бури. Если закат чёрный...

— Солнце село в тучу, жди, моряк, взбучу.

— Что вы такое лепечете?

— Простите.

Я не спросил Николая, куда он денет новорождённого мальчика, где теперь будет жить Душенька. Не в бараке, нет; а где? Я ничего не спросил.

Я просто плакал. Заливался слезами, постыдными, обильными.

Я хорошо знал эту легенду: мужчины не плачут. Что есть роды, и что есть смерть? Боже! как этих слов боятся люди! Не говорите мне про смерть, и фыркают, и отворачиваются, и зажимают себе уши ладонями; не говорите мне про кровь, про тяжёлые роды, в родах ведь тоже умирают, и младенец, и мать, и, нет, про это нам не надо, мы все появляемся на свет и все уходим отсюда, мы всё это знаем, но только не надо про это, про это нельзя, это больно, это неприятно, а мы так хотим, чтобы нам было приятно. Всё время приятно.

Плакал. И о людях боящихся тоже. Мы разучились смотреть прямо в лицо жизни. В лицо смерти. На войне я глядел в лицо смерти. Здесь, в заключении, в тоскливом барачном посёлке на берегу ледяного океана, я не отрываясь гляжу в лицо смерти. Я, хирург, людей спасающий. И что? Я окреп сердцем. Я по-иному молюсь. Мне молитва стала последней, предсмертной драгоценностью. Сокровищем.

Николай посмотрел, как я бессовестно плачу и утираю ладонями слёзы, поморщился и отвернулся.

— Бросьте, коллега! Мне неприятно.

Я наклонился, взял в руки подол рясы и подолом крепко, насухо вытер солёное лицо.

Обернулся к Николаю.

— Знаете, на войне я вытаскивал у бойца пулю из сердца.

— Что, что?!

— Пулю. Из сердца. Из бьющегося сердца. В этом состояла вся трудность. Пуля прошла через спину и воткнулась в сердце сзади, и осталась там. Я рассёк мягкие ткани, мышцы и вскрыл рёбра. Обнажил сердце. Вы оперировали на сердце, я знаю.

— Оперировал. Сто раз. Тысячу раз. Если мы отсюда выберемся, я буду оперировать только на сердце. Сердце, коллега, сердце. Это главный насос. От него всё в человеке зависит. Более того. Многие патологии сердцу врождены. У меня есть идеи насчёт них. Как их исправить. Я этим займусь.

— Займётесь. Да.

— Ну, обнажили сердце?

— Да. Освободил. Вижу, бьётся. Резко бьётся, быстро, птицей. Будто птица летит. Ухватить невозможно, не за что. Ассистента нет. Одна сестра стоит рядом, как обычно, губы кусает, глаза как блюдца, головой трясёт: невозможно, нет, нет! А я уже скальпель сжимаю. Понимаю: взмахну ножом, нащупаю пулю, схвачу зажимом, вытащу. Желудочки нетронуты, предсердия работают. Жить будет. В рубашке родился.

— И что? Вытащили пулю?

— Вытащил.

— Зачем вы мне всё это тут плетёте?! Ребёнка надо обмыть!

— Простите. Это рассказ о слезах. Я закончил операцию, пуля у меня на ладони лежит. На ладони смерть. Смерть держу в руке. А сестричка плачет-заливается. Бормочет: родился, родился. Вы его родили, родили. Я дал ей поплакать всласть. Не смеялся над ней. Не сердился на неё. Нашатыря потом дал понюхать.

— Дурак вы, нашатыря. Спиртика надо было пополам с водой плотнуть. Её бы сердечко и взыграло.

Я отважился посмотреть на мою Душу.

Николай держал младенца, санитарка принесла таз с водой, они оба стали обмывать смуглого красного мальчика, а я смотрел в лицо моей Душе и целовал её глазами. А потом склонился над ней, и под губы мне подвернулась, подставилась её голая нога, нога высунулась из-под окровавленной простыни, и я наклонился ещё ниже, ещё, и припал губами к тонкой, горячей, головнёй горячей в снегах марли и простынок ноге. Я целовал ей ноги, гладил ладонями её руки, и странно, ноги были горячие, а руки холодные.

И снова заорал младенец; это его окунули в воду, я не знал, воду согрели или санитарка, растерявшись, холодной из ведра принесла; да уж наверняка согреть-то на примусе догадалась. Подводная жизнь, плескание рыбы. Сквозь прозрачное зеркало видна будущая жизнь. Я, когда гляжу в воду, вижу, что будет. Мне сейчас в этот таз с водой не надо смотреть. Я не хочу знать, что будет с ним. С моим сыном.

Ты будешь жить. Разумеется, ты будешь жить. И я, сражающийся с врагом, бьющийся с ужасом, там, далеко, тебя не смогу защитить. Ты пойдёшь дальше один. Это трудно, идти одному. Там, да-

леко, за слоем чистой воды, за укрытой белым саваном землёй, за спокойно лежащим телом женщины, её голыми руками и ногами, творится неведомое и святое, и такое привычное: купают младенца в тазу, серебром бьют в глаза водяные вспышки, что-то над ним причитают, что-то восклицают, уговаривают, что-то ласковое нащёптывают, брызгают, плещут, хлопают, гладят, и горит непонятный светильник, керосиновая лампа, нет, плоска с жиром, нет, тусклая, красная электрическая лампочка, на береговой подстанции дали ток, это горит и светится кровь, ребёнок звонко кричит, потом тихо покрхтывает, потом умолкает и только вздыхает, и я слышу его частые вздохи, так дышит жизнь, и мне до смерти надо лишь её, её одну спасти. Её одну любить и славить. Ей одной молиться.

Ведь Господь — это Жизнь. И Путь. И Истина. Последняя Правда.

Смейтесь, вот теперь, да, хохочите, творите глум.

Над истиной всегда люди смеются.

Ибо каждый, возгордясь, знает истину лишь свою.

А к Божией — страшно близко подойти.

Моя Душа. Что она пережила много лет назад? А множество веков? Она мне не рассказывала, но я догадался. Я увидел. Я потому и стал зрячим, что она такое пережила; и жива осталась; и не опоганилась; и не предала ни себя, ни меня; и молчала, никому про пережитое не говорила, только мне. На исповеди. Исповедь наша, дитя моё, на берегу моря, в виду богатырских валунов. Молчаливая исповедь. Она молчала, а я слушал. И видел.

Её хотели убить. Медленно. Постепенно. Сначала укусить и впустить в рану яд. Наблюдать, как она будет умирать, корчиться. Звать на помощь. А потом, пока ещё жива, расстрелять. На неё одну, на Душу мою, направить самолёты, начинённые бомбами, танки, под завязку набитые огнём, море пехоты, и у каждого в строю отменное, новейшее оружие. Её хотели убить много раз — сначала взрывами на полнеба, потом шквалом огня, потом частоколом пуль. Каково это, умирать много раз? О, они мастера оживлять. Они бы воскрешали её и убивали снова. Я знаю.

А она, Душенька, такая смиренная. Смирренная. Глядит на убийц, прямо им в глаза, и шепчет: убивайте! Вот она я, вся! И стоит тихо. Не убегает. Ждёт. Бедная моя, милая. Она же ночевала в ящиках из-под картошки, в зольных коробах: в кухонных крысиных углах, в мышинных чуланах. Она таскала на реку тяжелые корзины с бельём, полоскать в проточной воде; она волокла на горбу мешки, набитые сельдью, корюшкой, дровами, углём. Передвигала, надрываясь, громадные чаны, ухватившись за ушастые оловянные ручки. Если она что делала не так, её били.

Бить. Как это просто. Привычно. Бить. Человека не остановишь, если он заносит руку для удара. Бить! Не только кулаком! Чем угодно. Мы придумали много приборов, инструментов, предметов, коими можно бить и убить. Кто выжил, когда его убивали, тот всю жизнь преодолевает в себе страх. Душа моя ничего не боялась. Она не просила Господа отнять страх у неё: Он отобрал у неё страх Сам. Навеки. Что есть век для Моей Души? Ничто, если я вижу насквозь её тысячелетия.

Здесь, на северах, мы оба шли с ней из ночи — в свет. Мы оба это понимали. Шли и шли. Брели. Я обнимал её за плечи. Я молчал. И она молчала. А что было говорить?

Вот у неё родился ребёнок. Дадут ли мне его взрастить, воспитать? Никогда. И это я вижу. Я выхожу ночью в тундру и вижу над собой Северное Сияние. Его струящуюся епитрахиль. Я закидываю голову и слежу за волнами полуночной парчи. Звёздное биение, исповедь Галактики! Вот неисповедимый размах Мироздания. Пробиваю нежнейший самоцветный мафорий пулями глаз. Пристальный взгляд, последний пристрел. Я вижу в Сиянии, внутри его колышущихся занавесей, будущие развалины, руины. Таков станет мой выжженный Мирь через сто лет; через двести; через пятьсот лет потомки людей станут воскрешать Мирь из обломков и скелетов, и трудно им будет, тяжело, но, как навозные жуки, копошиться они будут в разрушенном счастье, и, забыв его имя, окликать его другими именами. Жизнь — иное лицо Смерти. Мать-Смерть откинёт волосы с затылка своего, и на людей поглядят глаза, и откроется рот, и вытолкнет слова, и услышат их люди. Смерть станет жизнью. Кто будет у тех, далёких женщин принимать роды? Кому рожени-

цы будут вопить: дайте мне умереть, больно, не могу больше! Камень по камню, доска к доске, руины будут обрастать жизнью. И среди строителей новой жизни будет тихо, светло ходить босая Душа моя. А я не буду ходить. Меня там не будет. Я смогу лишь отсюда, из Времени, где рождён, глядеть на времена иные.

Итак, не бойтесь смерти, любимые мои, так шептал я себе. Вы убьёте себя и себе подобных, в прах разобьёте жилище ваше земное, но пройдут времена, и вы поймёте себя, Бога и землю-страдалицу. Всё отстроите! Всё воскресите! Но ничему не научитесь. Ничему не научит вас ни эта война, ни другая, ни следующая за ней, ни всеобщая гибель, ни тяжёлое воскрешение. Очухаетесь, возродите Мирь, и снова Каин возненавидит Авеля, и снова наточит меч, и разожжёт костёр, и припасёт бульжник. Голову живую Авелю разбить. В кровь и прах.

Накопите оружия, найдёте поводы, в ночи соберёте полки и новую войну начнёте.

Я гляжу в струение рубиновых, алмазных небесных мантий. Небесный Царь босиком ступает по плотной ночной тьме. По чёрной земле неба идёт мой Бог. Разворачивает передо мной пурпурную, изумрудную накидку Свою. Господь, стой! Обернись! Дай мне полюбоваться на лик Твой! Смилуйся! Перед всеми грядущими потрясениями, будущими великими сражениями — дай мне узреть Тебя!

Он шёл не оглядываясь, и я смотрел Ему в затылок, и тут я увидел.

Крыши города. Купола; плоская черепица; камень и стекло; островерхая жесть. Над крышами летит хищная птица. Парит. Она величины немислимой. Тенью от крыльев накрывает полгорода; а само Солнце, утреннее, только проснулось, висит в молочном тумане. Хищная птица головой закрывает млечный солнечный диск. Её башку с крюком стального клюва обнимает золотой нимб. Я прислушиваюсь. Внизу шум, крики, плач. Идёт война, она бушует на улицах города. Люди падают на мостовые, камень заливают кровь; опять кровь. Я так часто в будущем вижу кровь, что спрашиваю себя: полно, может, в моём настоящем я столько крови навидался, что моё бу-

дущее всё отражает, обречённо отражает её гигантским водяным зеркалом?

Тучи и туман разорвал порыв мощного ветра. Рядом с Солнцем я увидел Луну. Два светила рядом, это предвещает или большой праздник, или великий плач. Луна вспыхнула и стала наливаться красным цветом. Красная Луна. Чьей кровью обмазана? Там же нет никого, и никогда, в отличие от земли, там не будет последней войны. И ветров там нет. Тишина. Пустота. Мелкая серебряная пыль.

Сияние внезапно зашевелилось быстрее, замерцало, покрылось тысячью искр, и мне в лицо прямо с зенита ударила яркая молния. Доли секунды, но я запомнил её цвет: сначала густо-розовый, потом слепяще-зелёный, у моей давней жены было такое кольцо, с гладким крупным кабошоном, зелёным, как змеиная шкурка, амазонитом. Я зажмурился. Ночь, прекрасное время для знамений. Порадовался за себя: хорошо, молния меня не убила. Спасибо, Господи!

Стоял на равнине, во снегах, а будто в горах, и дышал, как в горах, на высоте, полной грудью, и воздуха не хватало, и не мог надыхаться. Вдали светлело ледяное море. По берегу шла маленькая фигурка. Не разобрать отсюда, кто. Малютка, дитяtko. Юбочку ветер мотает, завивает вокруг быстро идущих маленьких ног. Окликнуть? Далеко, не услышит. Что она ищет? Какое сокровище? Если вдруг она его найдёт, она погибнет. Любые сокровища сторожат. Возможно, там змея; пуля; отравы; часовой с ружьём. Дитя наклонится над сияющей драгоценностью, а снизу вверх, прямо ей в лицо, ударит ужас. Не надо! Не ходи туда! Пусть тайна останется тайной!

Не слышит. Идёт. По льду. Босиком.

Закрыв глаза. Удобнее видеть с закрытыми глазами. Я давно изучил этот способ. Ты вроде бы спишь. И точно не спишь. Это лошади спят стоя. Я есмь лодка, я плыву вдоль зимнего берега, а море замерзает только у камней, выйди в открытое море, там медленно, тягуче плещется вода; она целует гребнями волн мороз, я вижу воду, вижу насквозь её толщу, вода, моё Время, расступись, яко море Чермное, дай я посуху пройду в грядущее моё.

Плыву вдоль берегов. Вдоль старцев-валунов.

Угрюмая железная Рыба лежит на берегу. Она возлежит вольно и просторно, не скажешь, что мертва. Убита? Огромной волной выброшена на берег. Стала дышать земным воздухом. Он ей отравя. Так же нам отравой будет воздух смерти. Какой странной формы эта Рыба! О нет, она скончалась не из-за воздуха земли. Вижу: она живёт в воде и на земле. Она живёт везде. Её разрушили. Разбили. Вынули из неё железные потроха, стальную икру, а может, длинные стальные молоки. Продолжения железной жизни не будет. Рыба валется на берегу, вернее, её останки: то, что вчера было ею. Что она могла? Она могла пожирать живое и сеять смерть. Кто выпустил её в океан, кто нацепил на неё, для вящей красоты, золотую чешую? Люди, всё люди. Люди родоначальники рыб и змей, каракуртов и крокодилов. Не живых: железных.

Люди научились оживлять железо. И размножать его в веках. Я это вижу.

И вижу, как к стенам города, состоящего из неисчислимых барачков, подходят враги.

Буря, я вижу, далеко, там, где не ходят корабли. Незнакомый порт. В порту крики. Кровь. Грабежи. Человек снова убивает человека. Куда ни гляну, везде, в моём грядущем, одно и то же. А счастье?! Праздник?! Райский Сад? Войду ли я хоть однажды, хоть на миг, в будущем моём в счастливый, полный музыки птиц и смеха детей, дивный Эдем?

Я сам себе даю добрый совет слишком поздно.

Хватит глядеть в будущее. Может, надо глядеть в прошлое и извлекать там уроки для несчастного, гиблого настоящего твоего.

Вдумайся, милая девочка моя, нет, ты призадумайся только. Множество лет длятся войны! Множество веков! Гляди глубже. Тысячи тысячелетий! Всё гремят и гремят. Всё длятся и длятся. А мы, люди, обращая лик наш к будущему, видим там: всё войны и войны. Всё грохочут и грохочут. Несть им конца.

Я лодка. Я плыву вдоль берега. Вдоль земли. Вдоль Времени я плыву. Очки в барачке забыл, но всё вижу прекрасно, до рыбьего скелета, до косточки. Великая империя! Наша, родная! За тебя сейчас идёт последнее сражение. Последнее ли? Ещё много за тебя претерпим сражений, но это,

последнее, самое страшное. Не остановить. Проплываю мимо железной мёртвой Рыбы. Не оплакивай её; помолись о тех, ко её сотворил. Сотворил он её для убийства братьев своих. А братья ответили смертью на смерть. Господь, Ты смертию смерть поправ! И воскрес на третий день. Воскреснем ли мы? Я не вижу на снежном берегу воскресших. Не различаю во выюге.

Начальство моё! Отправь меня на последнюю войну! Я там лучше, насущнее пригожусь. Там я буду хлеб голодным. Раненые по жизни голодны. Они хотят жизнь есть, грызть, кусать. Пить. Я буду давать им жизнь из рук. Целебный нож мой будет сверкать ключевой водой и пахнуть кровью, как хлебом. Строгие города будут закрывать ворота перед врагом, но те, кого я излечу, войдут в них, незримо пройдя сквозь каменную кладку. Хищный орёл улетел. Хищная мёртвая Рыба осталась далеко за спиной. Грядёт большой бой, и я буду одинок в бою. Я один буду сражаться против великой армии. Мыслимо ли такое? Я просто лодка, одинокая ладья, и я плыву в морях по воле Бога. Мне не страшно спуститься в Ад: я жил в нём. Я без трепета вплыву в объятия Рая: я молился о нём. Я не хочу раскаиваться в содеянном перед людьми; я жду покаяния только перед Богом. Богу надлежит каяться. А вы, кто не верит в Него, вы всё сами увидите! Каюсь только в том перед вами, дорогие, родные мои, мой народ, что я не убил врага, не поднял взвод в атаку. Я только лечил и воскрешал. А если бы на мой операционный стол возлёт враг? Я бы вылечил его или зарезал? Да, да, вот этим самым скальпелем?

Я сунул руку за пазуху. С изнанки рясы был нашит потайной кармашек. Не я его нашил. Я обнаружил его слишком поздно, но я успел сунуть в него скальпель, подобранный в куче грязных скальпелей, лежащих в железном лотке и приготовленных к кипячению. Моё орудие. Моё оружие. Если понадобится, пушу его в ход. Я не хочу сейчас каяться ни в чём. Да, это кража. Я украл из железного хирургического лотка всю мою жизнь.

Всей смертью — украл.

И, может, кому-то неведомому всю кровь я выпущу этим скальпелем.

А может, взмахну им — и отсеку от страдальца всё его горе, страдание всё. И никогда больше он им не упьётся и не утрётся.

И всё больше, дитя моё, всё сильнее я чувствовал себя лодкой, медленно вдаль плывущей; лодка есть подвиг, лодка есть путешествие, лодка есть деревянная чаша, древняя ладонь, на себе несущая, переносящая в незнанный новый Мирь всех, исстрадавшихся в Мире старом; лодка есть обещание перемещения, передвижения, это полёт, ведь по воде можно лететь, как по небу; и вот такую живой лодкой я был, взлетали мои вёсла, упруго разрезали мой нос и лоб встречный ветер, била меня в грудь метелица, вихрилось надо мною царское Сияние, занебесное и подводное, я плыл по мирамъ потайным, я беседовал с силами подземными, и вместе с тем я жил в бараке, каждое утро, нацепив полушубок, направлялся по свежесвалившему снегу в лазарет, и люди смотрели мне вслед, как я иду — по чистому снежочку, по тропочке протоптанной, по чужим следам, след в след, и я себя чувствовал мостом между временами, мостом между людьми, живым мостом между землёй и Богом, и мысленно я призывал людей идти по мне, бежать по мне, не жалеть меня, топтать меня.

И однажды, когда я ранним утром так брёл по снегу в лазарет, мне было озарение. Я подумал: как хорошо было бы уйти, уйти и уйти, покинуть тундру, каторгу, неволю, и там, на просторе, начать собирать Души Живыя.

Души Живыя, Души Живыя, повторял я внутри себя, почему-то эти слова ко мне намертво прицепились, не отодрать, — Души Живыя, Души Живыя, да ведь и у меня душа живая, Душа моя жива, и души многих, тут, в неволе, чудом живы; но ещё больше душ живых там, на забытой воле, и ещё больших я излечу от смерти, и я буду по Миру ходить с котомкой и проповедовать, и улыбаться людям, ещё не убитым, и собирать их — в котомку?.. нет: с собою забирать, в память мою забирать, внутрь молитвы моей — забирать.

Как уйти? За свободу заплатишь. Не успеешь её вкусить. Ведь расстреляют. Стрельнут с дзорной вышки. Пуля вопьётся в спину. Никто не вынет пулю из твоего сердца, как вынул солдату ты. Нет таких искусников. И Николай не вынет; ему лучше, если тебя не станет. Хотя тебя, раненого, ведь на стол к нему приволо-

кут, и именно он к тебе подойдёт, со скальпелем и зажимом; больше некому.

А вокруг вас обоих, вокруг операционного стола будут, призрачные, толпиться, плакать, заламывать руки Души Живыя, Души Живыя.

И, когда я всё повторял это: Души Живыя, Души Живыя, — чёрная необъяснимая тревога, тоска охватывала меня, крепко сжимала в медвежьих лапах, взгрывала вьюга, плясала вокруг меня, била меня по щекам, я отплёвывался, отфыркивался, закрывался от бешеного снега и всё шёл, шёл туда, где вставал к рабочему столу, где ждали меня ножи и зажимы, игла и кетгут, — в мой лазарет.

По слухам, Николай поселил Душеньку с ребёнком в доме начальника. Что ж, там её, глядишь, хорошо покормят. Она кормит грудью, и ей нужна хорошая еда и хорошее обильное питьё: чай со сливками, с морошкой, с малиной, с мёдом, топлёное молоко, клюквенный морс. Хоть бы дали ей чистое бельё! Ведь она так и ушла из лазарета в ту ночь после родов, прижимая сына к груди, в окровавленной рубахе.

НИКОЛАЙ

Точно, сумасшедший он и есть сумасшедший. Плохо быть одновременно батюшкой и доктором. Врач это врач. Он ни на кого не уповаet. Ни перед кем ковром не стелется. Он как можно лучше делает своё дело.

А батюшка, он точно тронутый, он просто всем голову бабкиными сказками морочит.

Мы шли по снегу рядом, а будто в двух разных лодках плыли.

Он пытался у меня узнать, где Душенька. Я показал ему на каменный дом начальника. Алексей встал, помолчал. Исподлобья смотрел на дом. Двухэтажный, прошлым летом побелённый, перед домом занесённый снегом автомобиль. Там, внутри, холодильные шкафы, в них куча вкусной еды. Есть даже апельсины: из столицы привозят. А уж икра в трёхлитровых банках не переводится. Щучья, осетровая, лососёвая, да какая угодно. Я видел. Меня угощали. Начальник угощал. Я спас его первейшего помощника. Гнойный аппендицит, с перитони-

том. Ну, тут не только я молодец, у больного организм крепкий, справился. Могла бы вся история перейти в заражение крови. Батюшка бы загундосил: Бог миловал. А я говорю: сильные мы ребята оказались, нам палец в рот не клади.

Начальник, радостный, довольный, лицо масляное, румяное, выметал на стол всё из холодильных закровов. Иные блюда я ел впервые. Дивился, головой качал и слегка помыкивал: м-м-м-м, вкусно. Начальник глядел торжествующе. Задира курносый нос и становился похож на борова. Мы выпили, основательно закусили. А вот что пили, не помню. Не такой уж я гурман и знаток этого всего, вин и прочего. Вроде красное вино пили, потом коньяк. Коньяк вроде с Кавказа. Точно, коньяк, вспомнил. Начальник щёлкал по бутылке ногтем и жмурился: двенадцать лет выдержка. Я думал: хорошо живут начальники над неволей.

Наелся, напился, насиделся. Отдохнул знатно. Вышел в вечную полярную ночь и снег. Стоял, пошатываясь. Выпил на грош, а пьян на целый рубль. Идти-то надо. К себе в барак. Ночевать. Все дрыхнут после отбоя. Один ты в ночи слоняешься, под мухой, доктор фон Гон-Гаген. Начальничек угостил? С начальничком лебезил? Тьфу. Нет, точно, на войну пора. Попрошусь.

Только вон отсюда. Из этого курятника. Нового врача найдут. Я что, один такой?

И этот, этот, никуда не денется. Батюшка.

За меня – будет оперировать.

Хирург он, конечно, гениальный. Я слежу, как он оперирует. Его технологии мне порой непонятны. Но я их перенимаю. Краду. А что, запрещено? Никем и ничего не запрещено. Мир, собака, так и устроен, чтобы в нём все, всё и всегда друг у друга тащили. Всё, что плохо лежит. Искусство. Мастерство. Приёмы. Ухватки. Лямзили, тырили, пользовали. Радовался бы, молитвенник, что у него коллеги учатся.

Я потом, на войне, всё равно отсюда на войну удеру, все эти его приёмчики в деле применю. Сподручно! Ха, ха. Считаю, святой отец, ты мне все свои находочки подарил. Премного благодарен. Пре... мно-го...

Он вырос передо мной из круговерти пурги.

Я закричал, его увидя.

– А-ха! Отец Алексей! Думал вот о тебе! Богатым будешь! Счастливым... а почему бы нет!

Он молчал. У него подозрительно ярко, как две ледышки, подсвеченные закатом, светились запавшие под лоб глаза. Треух он сдвинул на затылок, лоб поблёскивал росой пота.

– Что молчишь?!

– Николай Петрович. Вы пьяны. Называйте меня на «вы».

Я качнулся.

– А ты... вы беспамятный. В лазарете, в ту ночь... мы же с вами... с тобой... перешли на «ты». Синяки-то все зажили? Или ноют старые раны? К дождю?

– Прекратите. Прошу.

Я думал, он уйдёт. Нет. Стоял. Снег заметал его ноги. Он стоял в двух маленьких сугробах, как в белых песцовых унтах.

– Жаль, коллега, мы тут с вами лишены удовольствия... ха, ха!.. по стопочке... хорошего... дагестанского... высшего качества...

И тут произошло странное. Странного много в жизни, странного я навидался, но тут я застыл, к снежной тропе приварился валенками и слушал этот дикий бред.

Батюшка, стоя в снегу и воздевая руки, бормотал быстро, то невнятно, то отчётливо, почти не деляя в речи пауз.

– Солнце станет птицей. Громадным орлом. Победённый упадёт на большой дороге лицом вниз. Так будет лежать, а громадная железная колесница проедет по нему и расплющит в кровавую лепёшку. Колесница будет ехать по телам, всех давить, крик поднимется к небесам, но крики не будут слушать владыки. Ни крик, ни приказ не остановят страшной упряжки! Люди наблюдают бег колесницы. Люди кричат: мира, мира! Они замирением хотят остановить ужас. Смерть хотят остановить! А небеса расходятся, как волны морские, и обнажается дно, и посуху огромная армия великого царя переходит времена. Когда последний воин исчезает в тумане, смыкаются красные волны. Красная вода. Кровь. Всё состоит из крови. Всё вернётся в кровь. Слышите? Слышите?!

Я всё прекрасно слышал.

Так, всё понятно. Бред как он есть. Осталось определить его природу: паранойя это или ши-

зофрения. Немудрено. Здесь, за колючкой, много ужасов. Не всякая психика вытерпит. Но я держал доктора за выносливую мужскую особь.

Я не нашёл ничего лучшего, как схватить доктора за локти и резко, сильно потрянуть.

— Эй! Очнитесь! Слышишь, ты! Очнись!

Алексей глубоко вдохнул крутящийся, пуржистый воздух. Снежные искры усеяли его бороду, круглые очки сползли на кончик носа, и глаза глядели жалко, жалобно, доверчиво, совсем по-детски.

— Ночью... в постели... владыку задушат. Когда... не получится... его отравить... Ночью, в постели, это подло, это гадко. Жизнь дана, и жизнь взята. Владыка много сделал несправедного, а сам думает, он герой. Каждый человек герой. Каждому надо на грудь медаль. Только и награда может быть казнью, и казнь может стать наградой. Господь был распят, и что из этого получилось? Империя много претерпела. Претерпит ещё. Тяжко тащить воз. Коней распрягли, машины расплющили заводскими прессами, и железо пошло в переплавку. Трое придут и захотят стать героями. Предвечными ангелами. А вокруг, невзирая на объявление бесконечного красного праздника, всё будет умирать, умирать... умирать. Те, кто ещё жив, будут письма писать владыке. Он не будет их читать. Ни один конверт не откроет. Страшно читать правду. Правду! Империя всегда сочиняет для людей легенду. Красивая легенда зовёт вперёд. Вперёд! Это наш завет. Наша молитва. Вперёд! Иди. Шагай. Ноги идут. Ноги идут. Только не останавливайся. Не останавливайся! Только... не оглядывайся назад. Не оглядывайся! Назад!

На миг мне показалось, у доктора в руке зажато копьё, а там, за ним, в тени наметённого сугроба, мотается тень лошади. Лошадь трясёт головой, кивает, бьёт наст копытом. Отступает во тьму. Я больше не вижу её, но слышу её тихое ржанье.

Вот ещё этого не хватало. Я не собирался сходить с ума.

— Алексей! что с тобой!

Он не слышал меня.

— Люди образуют смерч. Люди летят вдоль по земле, сеют разрушение и смерть. Люди безумны. Я не безумен, нет. Я говорю правду. Правду тяжело слушать, ещё тяжелее осознать. Нас, народ наш, хотят убить. Стереть с лица земли. Дав-

но хотят. Многие в это не верят. Но карты открыты. Нечего больше прятать. Враги не смогут изменить их законы. Посадить на троны других владык. Наш владыка жесток, но мудр. Ему говорят: убьём тебя! А он молчит и усмехается, и с усмешкой глядит в лица убийц. Он смехом говорит им: это я вас убью. Единоборство! Всегда. Борьба навсегда. Война навсегда. Разве дело в деньгах? В золоте? В дипломатии? Война ведётся с открытым забралом. Ночью нападут на столицу. Ночью начинаются войны. Ночью последняя война начнётся. Никто не спасётся. Никто. Я разумен, я в здравом уме и твёрдой памяти. Вы слышите меня? Никто.

Я начинал дрожать. Всё-таки дьяволица эта поморская пурга. До костей пробирает.

Я сменил тактику.

— Всё, всё, хватит, я всё услышал, дорогой коллега, я всё понял. Идёмте. Идёмте в барак. Уже поздно. Хватит нам гулять. Я так замёрз, знаете ли, что протрезвел.

Мы ковыляли в барак вдвоём, я держал доктора под локоток, мы оба шатались и то и дело чуть не падали в снег. Наконец дошли. Перед дверью доктор стащил с себя треух, отряхнул его рукой в кожаной истрескавшейся рукавице и грустно выдохнул:

— Спасибо вам.

АЛЕКСЕЙ

Дитятко. Милое. Который час? Который день? Ах, который век я тебе всё это говорю? А может, кто-то иной говорит за меня: коты орут, птицы щебечут? Далеко, далеко мычат коровы: их подоить забыли. Если ты попросишь у начальника лазарета стакан молока, буду тебе благодарен. Я тебе благодарен, ты моё зеркало. Я отражаюсь в тебе, не видя тебя, видя тебя душой; и вот я уже счастлив. Так я отражался в Душеньке. А Душенька во мне.

Бросил я семью мою, уходя на войну, а тут довелось мне спеть обширный, нескончаемый псалом о семейной несбывшейся жизни, счастливый, хриплый, тоскливый псалом. Так люди по льду идут босиком. Так запрягают лошадь в телегу, а она вдруг вырывается из сломанных оглобель и пускается вскачь, играя, а потом вдруг

возвращается к хозяину, что сидит в снегу, кулёма, стащил овечьи голицы и плачет. Не плачь, человек! Много радости в жизни! Вот тебе радость, лошадь вернулась, не ускакала!

Душу мою забрал, к рукам прибрал врач Николай, выхвалился перед начальником, что, дескать, бабу при родах от верной смерти спас, и теперь эта баба его по праву; здесь уважают право сильного. Хотя, дитя, нету здесь никакого права. И нигде не было его, и никогда. Человек, для успокоения своего, выдумал право. Право, лево. Перепутать можно. И путают. Право и бесправие. Правду и лицемерие. Я часто видел, дитя, лицемерных людей. Как они лебезят! Как рассыпают алмазов снега под чужими ногами! Льют в пригоршни драгоценное сладкое вино! На пузо ложатся и ползут перед нужными, важными людьми. Мерзко на это глядеть. Но я глядел. И речи те сладкие слышал. И слыша их, сам себе говорил: будь смел, говори людям правду, даже если за неё надо головою расплатиться. Расплатишься, коли дело дойдёт. Люди и получше тебя такую цену платили.

Поселились Николай и Душенька на втором этаже дома, где жили начальники: начальник барачного посёлка и начальник лазарета. Маленькую комнатёнку им отвели. Да отдельную. Тяжёлая дверь, чёрной кожей обита, литыми кнопками кожа к доскам пришпилена. Я бывал там у них. Входил. На меня со стены глядело зеркало. Оно качалось и клонилось. Или это я сам качался и клонился, да вроде не хмельной, а кровь сильней вина порой пьянит. Зеркало летело в меня белогрудой птицей, и в окно врывалось Солнце, ударяло мне в грудь пучком лучей, слепящий пучок погружался в лёд зеркала и вылетал из него наружу, и ударял мне в лицо, и я, слепой, застывал и закрывал лицо руками. Слепой! Мне Бог всё время знаки подавал. Чтобы я над жизнью задумался и о смерти молился. Плохо и мало я молился, дитя, плохо и мало; на работе в лазарете пропал, а потом ещё к рыбакам в артель гнали, помочь рыбу тащить сетями, а часто и на сбор ягоды отряжали, а ещё на кухне повинность нести, картошку чистить, захожу, а на полу горы грязной картошки лежат, и вся мёрзлая, мягкая, сладкая, в сизой плесени. Не умели хранить.

Николай распахивал кожаную дверь передо

мною. Я входил. Мёл пол полою рясы. Душенька вставала с табурета и мне пододвигала: садитесь. В колыбели спал Душенькин сыночек, мазанный блиночек. Круглое лунное лицо, бледные щёчки, ручонки за голову закинута, пальцы такие маленькие, тонкие, что тебе стрекозиные брюшки.

– Какой милый, какой славный.

Николай морщился.

– Не хвалите. Сглазите.

Теперь морщился я.

– Это суеверие. Суеверия от дьявола.

– А ваш дьявол от кого? Дьявол же без Бога не может? Или может?

Душа моя бросала дровишки в подпечек, ставила кипятиться широкий, как шкаф, медный чайник, брякала на стол миску с холодными блинами. Громко стучали часы, огромный будильник. Я воображал, как оглушительно, сотрясаясь в судорогах и подпрыгивая, он звенит в урочный час: железяка поднимает людей на бой. На жизни бой. И нет ему конца.

Я искоса рассматривал Душеньку. Она исхудала, сидела за столом иззелена-бледная, молча смотрела на блины, не на меня. Я ел, аккуратно сворачивая блин в трубочку. Прихлёбывал обжигающий чай. Душа моя крепкий заваривала чай, крепче водки, вырви глаз.

– Ешьте, ешьте блинчики, не бойтесь, это постные, без молока. На постном масле.

– Я не боюсь.

Ребёнок в колыбели начинал хныкать, Душа моя выплывала из-за стола и подходила к нему, и тихо брала на руки. Садилась, с ребёнком на руках, за стол. Я клал недоеденный блин на блюдце и глядел на ребёнка. Водил по его сонному личику зрачками. Выискивал в нём своё несбывшееся. Навек утраченное.

– Глядите? Глядите. Черты свои ищите? Ищите.

– Я ничего не ишу.

– А вот я ишу.

– Мне всё равно.

– Да ведь и мне всё равно. Я пошутил.

Детонька, нет в жизни, нет в ней, бедной, раз и навсегда затверженной истины! Сегодня враг, а завтра друг. Сегодня разбойник, сейчас из Ада, а завтра в небесах со Христом. Вот это, это я помнил хорошо.

Да всё, всё тут у них, в святом семействе, было налажено: рыбы на леске висели и вялились поперек окна, кумжа, треска, навага; над колыбелькою на ниточке гремели и щёлкали самодельные погремущки — в шарики из-под пинг-понга Николай охотничьей дробью натолкал, — в углу стояли широкие лыжи-снегоступы, ружьецо, острога, на длинные шести сети намотаны, рыбу из моря тянуть. На подоконнике рос колючий пустынный столетник. Два сундука у стены горбили медвежки спины, обитые медными листами. В тех сундуках, догадывался я, Душенька одежду держит, простыни-пододеяльники и подзоры. Откуда всё хозяйство? Веками копилось. По наследству перешло. Начальник лазарета, видать, семейству новому благоволил.

Никуда из Мира, дитя, не исчезает добро. Оно живёт даже в Аду.

— Спасибо за угощение.

Вставал. Венский стул четырьмя ножками визжал, царапая половицы.

— Куда же вы... посидите ещё!

Я ловил глазами её глаза. И тут же глаза отводил. Не мог глядеть. Мог только улыбаться.

На это сил ещё хватало.

— Благодарствую. Я лучше ещё загляну. Потом.

Я обводил глазами комнату, и перед зрчками проплывали: медная миска, страшный чугунок, медная ступка с торчащим пестиком, подзорная труба с разбитым стеклом, трёхрогий подсвечник, латунный чайник для заварки с гнутым, будто перебитым в драке носиком, о чудо, сахарница, да пустая, без единого кусочка сахара, деревянный расписной половник, верно, им Душенька зачерпывала из котла уху, оловянная солонка, серая крупная соль внутри, не соль, а разбитая молотком хрустальная друза; проплывали одеяла, рваные простыни на спинках стульев, брошенные возле сундуков мокрые холщовые тряпки, мыть полы, швабра возле окна, колючие узкие листья алоэ, а земля сухая, полить бы надо; пузырьки с лекарствами, пустые рюмки, корешки древних староверских книг, и там, дальше, голову чуть повернуть, на стене Распятие: да, староверское, медное, величиною с голову ребёнка, и Господь, через муки, через последний великий ужас, изогнув страдальчески брови, широко раскинув пробитые ко древу руки, глядит на нас.

Не мы на Него, а Он на нас.

Так вот люди жили и при Аврааме, Исааке и Иакове, и так живёт здесь и сейчас Душа моя; живи, Душа моя, только живи, а я буду молиться за тебя, чтобы ты жива была.

И, спускаясь по лестнице со второго этажа на первый, я вспоминал всё, что Душенька за столом говорила, и что говорил хирург Николай, как Душеньку хотели наградить правительственной наградой, ею награждали медицинских сестёр, военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу, это было, когда она ещё работала в военном лазарете операционной сестрой, а потом, вздохнула она, явились враги, а потом опять вошли в город наши, и её поймали, как зверя, и вместо важной награды наградили ссылкой на лютый Север. Зато здесь Сияние, улыбалась она, такое красивое Сияние! А моя работа, мне сказали, приравнивается к боевому подвигу, опять улыбалась она. И я улыбался ей в ответ.

Да разве в наградах дело? Так же, как солдата в бою, сестру милосердия ранят. Так же, как солдат на поле боя, она умирает под выстрелами, под бомбёжкой. Душенька, а ты стрелять умеешь, тихо спрашивал я её, и она, подливая мне чаю, улыбалась: я не только стрелять могу, я могу пойти грудью на огневую точку противника и закрыть её моим телом. Запросто могу!

И опять улыбалась.

И эта её улыбка реяла флагом над столом, над нашим чаем, а попросту чифиром, как здесь, на северах, любят и пьют, чтобы опьянеть и согреться, и она тихо говорила о том, что на войне сёстры милосердия совершают невозможное, и мы даже не можем себе представить, сколько на войне сестёр, одни женщины и девушки, одна огромная армия великих женских душ, вот уж воистину Души Живыя, что спасают жизнь, лелеют жизнь и борются за жизнь, отвоёвывая её у многоглавой и многоочитой Смерти, и как они все, сёстры милосердия, прекрасно понимают, что они выполняют долг перед Родиной, великий и единственный долг: за этим они родились на свет, это исполнят, с этим — во тьму — коли суждено — уйдут. Солдаты! Родные! Любите ваших сестёр. Они самые прекрасные женщины на земле. Они ваши матери, ваши любимые, ваши заз-

нобушки, ваши младшие сестрички с белыми пружинистыми косками по плечам, ваши будущие доченьки, сидящие у ваших смертных постелей, когда ваш час в миру придёт. На войне кто о чём мечтает. Каждый о своём. Кто жаждет домой вернуться. Кто дойти до логова врага, до истоков его всесветной злобы, до страшной полнощной площади, где он жёг кости святых и книги пророков, и изничтожить его в насиженной его берлоге. А ты о чём мечтала на войне, Душенька? Родная сестричка моя? Она опускала глаза. Чашка с крепким чифиром дрожала в её руке. Врач Николай пристально смотрел на неё, глазами приказывая ей: правду говори. И она вдыхала и выдыхала: я на войне всегда хотела дожить до дня рожденья. Чтобы дожить вот до такого моего дня рожденья, ещё справить его, отметить. Хоть гроздью мёрзлой рябины. Хоть кусочком вяленой воблы. Хоть ржаною корочкой. А то и мензуркою спирта. Но отметить. Рожденье, это праздник. День твоего рожденья — это вера в то, что Время всё-таки есть! А то вот, и она длинно, горячо глядела на меня полднейной, пылающей синевою, доктор Алексей говорит, времени нет. Нет Времени! Есть ли Время! Мне всё равно, когда я гляжу на Душу мою. А она вздыхает, закрывает глаза и шепчет: да, я всегда хотела дожить, я отсчитывала дни, и мне страшно было умереть, погибнуть, не дотянуть до этой даты. До какой? А секрет! А в чём ты ходила, Душенька, на войне? Дай мне представить тебя солдатом Евдокией! Ой, доктор Алексей, я... я... ну, я на войне в брюках ходила! И в пилотке набекрень! Кокетничала, да? Ну да, немного! Залихватски так! Хотела, да, настоящим солдатом быть! Мы, сёстры, всегда ведь на войне солдаты! И, не смейтесь оба, всегда я была в грязи. Вся изгвазданная! Ну, ведь если бой рядом идёт, на коленках по полю ползёшь, на брюхе, а потом под тяжестью раненого... или на плечах его тянешь, или на брезенте... И я, знаете, я даже не могла себе представить, что наступит такое время, и можно будет не ползти, а идти... Встать и идти по земле. Прямо. Не сгибаться. Вы только не смейтесь!

Да мы не смеёмся. Мы вот сейчас по земле — ходим.

И что? Счастливее мы стали?

Она отпивала из кружки чай и бормотала: а мне

сейчас война снится, снится, эшелоны снятся, раненые в эшелонах, вагон трясётся, мы вагон обходим, наблюдаем, не умирает, не умер ли кто, сторожим смерть, бережём жизнь, и устали дико от этой стражи, а враг наступает, и всё мне снится, что враг, дрянь такая, превосходит нас во всём, и людей у него больше, и зениток, и самолётов, и танков, вон он, над нами, самолётный гул, воздух от гула тягучий и плотный, им невозможно дышать, слёзы сами льются, просыпаюсь, а подушка в слезах.

Ты не плачь ночью, не плачь, шепчу я ей, и коричневый остывший чифир дрожит в её чашке, как густая венозная кровь.

Мне снится, шепчет она невнятно, быстро, что раненые к нам в лазарет всё поступают и поступают, всё притекают и притекают, а мы с убитой сестрой Лизой всё стоим и стоим у стола, и мы за хирургов, всех хирургов убили, а мы за них, и сменны нам нет, некому нас сменить, и мы стоим у стола, сами оперируем, сами режем и зашиваем, зренье вдруг застилает тьма, чуть не падаем, ослабли, и вдруг вправду падаем, кто из нас свалился, Лиза или я, а да, это убитая пьяным жестоким офицером Лизка, офицер, разъярённый, выстрелил тогда в дверь, пуля Лизке в лоб, а почему же она живая стоит у стола, да просто потому, что она помогает мне, а то я упаду и не встану, а нам надо раненых спасать. Для иных мгновения решают всё! Жить, умереть. И мы с Лизкой стоим почему-то за столом в касках, наши каски обтянуты марлей, ну, чтобы хоть намёк на стерильность был, я во сне соображаю, это нас предупредили, что каски надеть надо, а то взрыв, и осколки летят, и мы сами тут, над раненым, умрём.

Милые, бормотала Душенька, родные, а ведь каждого раненого мы там, в лазарете, любили как родного, мальчишечки такие, желторотые, ну они же как дети, так они и есть дети, а уже бойцы, самолёты на них налетают стаями, танки идут железными стадами, нет железу конца, а они, живые, всё стоят и стоят, стоят насмерть, вот они уже очень хорошо выучили эти слова — стоять насмерть, и стоят, держатся... израненные, осколками истыканные, кровью обливаются, а стоят, поле боя не покидают. Там, во сне моём, вижу: у иных ребят десятки ранений, понимаю, это мина разорвалась, а кто подорвался на mine, вот

курсантов везут, почти у всех ранения в брюшную полость, кто в сознании, кто бредит, у кого шок, у кого коллапс, у кого уже перитонит и сепсис, и температура под сорок и даже за сорок. Родные, милые, какие громадные раны я видела! Во сне или наяву, спрашиваю я, и голос мой теряется и тает. Наяву, конечно, отвечает Душенька, и губы её дрожат. На стол раненого кладут, а я от ужаса застываю. И так стою, ледяной столб. Кишечник выпадает. Докторов всех поубивали, а я сама кишки раненому в живот заправляю! Руками! Вот этими, этими, голыми руками! И поднимает руки над столом передо мной, и показывает мне руки, и руками трясёт, будто бы я не поверю, что да, этими, вот этими руками, а Николай подливает в чашки заварки и тихо спрашивает меня: покрепче? А Душенька от тихого шёпота поднимает голос до резкого крика, и жмурится, и кричит, и слёзы брызгают у неё из глаз на скатерть: мы с мёртвой Лизкой оперировали его больше двух часов! Больше двух часов! А он всё равно умер! Всё равно! Всё равно... умер...

У нас и такие сёстры в лазарете были, раненый мальчонка умирает, а она там же, в операционной, хохочет, со смеху покатывается, потом курит, в окно смотрит, зевает, спать хочет. Да! и такие были. И такие были, что глядят, как хирург оперирует, а потом в коридоре лазарета вздёргивают плечиком: ты знаешь, я сегодня сама оперировала, мне скальпель доверили, так я врачу подсказала много всяких точных ходов хирургических, а он и не знал, глупенький, он меня благодарил! И ждёт, кукла, восхищения. Хорошо, у нас такие фифы долго не задерживались. Когда враги заявили, таковские балеринки к ним быстро переметнулись. Хорошо бы их всех убили! Убили... убили...

Тихо, тихо, шептал я и гладил её по руке, по гусиной, в пупырышках, гневной коже, не ярись, не плачь, их и так Господь накажет. Уже наказал. Мы не знаем, как, но наказал.

А мы с Лизкой, шепчет она опять еле слышно, в моём сне, всё у стола стоим, стоим... нас никто не сменит никогда... нет у нас санитаров, нянечек, врачей... никогошеньки нет, только мы с Лизкой...

И опять, опять несут ребят, на mine подорвались. Один мальчик даже не стонет. Нечем сто-

нать. Голос исчез. Ноги оторваны. Стопы кровят, растопыренные, на красные веера похожи. Я беру в руки эту ногу и так с ней стою. А потом падаю. Разум отшибает напрочь.

Я спрашиваю мёртвую Лизку: Лизка, а когда наши придут? Может, никогда? Лизка поднимает ко мне лицо. Проверяет на больном жгут, повязку. Говорит мне тихо, размеренно: Душенька, я больше не могу. И я не могу, отвечаю я ей. Сейчас бы на печке поспать! Залезть и согреться. Шинелью до ушей укрыться. И будет сон во сне. Представляешь, ты спишь, а тебе и во сне снится сон. Сон-матрёшка! Видала ли ты такой когда в жизни! Да никогда!

Точно. Никогда, она мне отвечает.

Тихо, тихо, утешаю я Душеньку, тихо, милая, мы всё поняли, это сон во сне, а она всё не унимается: раненые всё прибывают, нам некуда их класть, мы кладём их на пол, и пол весь усеян ранеными, а они всё наплывают, всё плывут, живые пробитые лодки, и где же здесь Бог, почему Он не видит, что здесь творится, почему не поможет?! Господи, помоги! Да слышит ли Он! Сил наших нет уже глядеть на людские страдания! И со всех сторон к нам с мёртвой Лизкой несётся: сестра, сестрёнка, сестричка, сестрица, сестрёнушка!.. Сердце, Алёша, сердце ведь есть у меня... тяжёлые ранения такие... в живот, в затылок, в лицо, в грудь... отломки костей торчат, открытые переломы рук и ног... простреленный позвоночник... Вместо шин привязано к конечностям всё что угодно: доски сараев и заборов, дедовы лыжи, портновские сломанные метры, жгуты наложены из скрученных рейтузов, из порванных в куски атласных старинных покрывал, с вышивкой гладью, и по зелёному яркому атласу вышиты Райские Жар-Птицы и пышные розаны, а кровь течёт, и натекает лужами под койки, под операционный стол, и отовсюду слышно: сестрица!.. сестрица!.. И меня, родные, Алёша, Николай, за руки хватают, а я их спрашиваю, как их зовут, ну, чтобы обратиться по именам, и они мне бормочут: Алексей!.. Николай!.. Вот опять за руку во сне схватили. Я застыла, и пульс во мне застыл, это значит, сердце застыло. Остановилось?! Как бы не так! Молодая я. Меня не остановишь! Гляжу: ведь боец умирает! А мне шепнули, когда в операционной с носилок сгружали: он герой. К Герою

приставили! К награде на всю страну... Глажу героя по лицу. Вот ужас! Смерть. Близко. Плакать?! Зачем?! Смерть тебя не услышит, не сжалится. Губы вздуваются, пальцы щиплют лазаретную простыню. Вытянулся. Всё! Это сон, беззвучно кричу себе во сне, это сон!

Милые, во сне моём мороз трескучий, минус сорок, мы бойцов укрываем шинелями и шубами, а они всё равно дрожат, кто будет жить, хочет есть, а иногда есть хотят и перед смертью, насладиться едой напоследок, и я знаю, утром я буду писать письма родным погибших, как, когда и где боец погиб, это письмо из лазарета, дойдёт, представляю, как мать зальётся слезами, как на пол в избе упадёт в рыданиях любушка.

Душенька, говорю ей, ты не плачь, а Николай весь белый, губы кусает, он уже устал кипятить чай, ребёночек кряхтит, им надо спать, семье надо отдыхать, а я куда пойду, а я пойду в барак, Душа моя, твой сон закончен, началась явь, ребёночек плачет, ночь на исходе, пора вставать, да и мне скоро вставать, я прихожу в лазарет затемно, вслед за мной придёт Николай, и мы будем жить, работать и дышать, это значит воевать, а ты поспи, хоть немного поспи, нет человеку на земле сна, потому что война, а ты вздремни, последние дни, а я пойду... глядеть в ночи на звезду.

Я выходил в снег. В ночь. Зима здесь сплошная ночь; дня нет, есть только снятое молоко туманных, иномирных сумерек. Я здесь, в призрачных сумерках, являлся сам себе вековечным мужем Души моей. Нас было не разнять, меня и Душу мою. Кто придумал разрубить нас? Такого быть не могло. И не станет такого никогда. Обниму я Душу мою, и так, обнявшись, предстанем мы с нею на Страшном Суде. Староверы любят икону Страшного Суда; здесь, на Севере, во множестве церквей подобные иконы я видал, молился близ них, запоминал их, входил взором и сердцем внутрь. Пережил я таким образом, дитя, Страшный Суд много раз; и для меня он стал не последним ужасом, а предвечным, сверкающим праздником. Даже блеск и колыханье ночного Сиянья не могли этот праздник отразить. Я сам был его живым зеркалом. Ходил среди людей, ночевал в бараке, терпел тычки, побои и поношения, лечил людей, резал их плоть, врачевал их души, а сам

всё отражал, отражал телом моим и нутром моим Страшный Суд. И всё твердил себе: да, когда-нибудь, о, когда-нибудь я отважусь, я сподоблюсь, я его, Откровение Иоанна, самым ярким и могучим из всех моих цветных, ослепительных видений грядущего — на куполе полночного небосвода — моею кровью — изображу.

Страшный Суд! Человек, в жизни его, сам себе Страшный Суд. Вот подходит он к концу жизни, и оглядывается, и видит: во страшных грехах жил! Ждёт приговора. Даже неверующий ждёт. В эти годы перед концом, в эти дни, как человеку кончиться, почувствует он Страшный Суд всякой клеточкой тела его. Спать ложится — веер Суда разворачивается перед ним, и он медленно идёт вдоль жизни своей, и прошлой, и грядущей. Перебирает дни и ночи, ужасается, любит, льнёт губами и руками к незабываемому.

Вот так же я выходил в полночь и льнул тоскующим, любящим взглядом к усыпанному звёздами зениту. Планеты и звёзды ходили вокруг меня кругами, как волчата вокруг матёрого волка, обнимали меня, жалась ко мне. Я, живое зеркало, ложился спиной на снег, животом и лицом кверху, к звёздному небу; и так лежал. Улыбался. Отражал небо, ночной Мирь, Север, мою тюрьму на берегу моря, мою великую свободу: разве Душу мою можно заточить в застенки? Душа моя врачует страдания. Исцеляет немощи. Таким я рождён, так меня учили. И я выучился ещё кое-чему. Я знаю теперь, как пребыть в предвечном браке. Брачная Вечера! Вот она. Моя и Души моей. Не изменю ей никогда. Не предаю её. Не совершу тяжкого греха ради неё, ни убийства, ни подлости, ни обмана, ни иного преступления. Вот лежу на снегу, а это мы вдвоём с нею, обнявшись, летим на пир к Отцу нашему, к Матери нашей Богородице. С нами малый сынок наш. Он говорит первые и последние в жизни людей слова. Высокие. Небесные. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец всего.

Я понимал: могу замёрзнуть. А не вставал со снега. Уж слишком ярко, густо, мощно, безысходно, богато, царски сияли и переливались бесчисленные звёзды. Я же просто зеркало. Я и должен так валяться. Богом забытый, людьми брошенный. Никто меня не поднимет. Ни охранник. Ни узник. Ни начальник. Никто. Мы с Душою

моею светло улыбаемся вам. И отражаю, отражаю я весь Мирь, и людской и зверий, и видимый и невидимый, и морской и сухопутный, и военный и тихий, без смертей и огней. Тихая ночь! До чего тиха! Звёзды плывут рыбами, осыпаются на мёртвую землю спелыми белыми ягодами. Урожай звёзд. Я сегодня богатый. Таскаю звёзды корзинами. Душенька моя, ты-то хоть веришь, что я собою отражаю Время? Я зеркало, во мне горит и светится будущее. Тяжело мне отражать его. Но кто-то должен его увидеть и отразить. Это я. Моё имя не запомнят. Не узнают. Вот сейчас, милая, родимая моя, я вижу перед собою громадное зеркало. Я сам зеркало, и надо мною висит чудовищное зеркало. Мы, два зеркала, глядим друг во друга. Это опасно. Можно так отразиться в чужом зеркале, что стекла хрустнут, и упадёшь в зазеркалье, а оттуда не выбраться, и не спасёт тебя Бог, ибо нет Его там, куда ты ненароком улетишь. Я сам себе пророчу: спасусь! Я всем людям кричу отраженьем: живы будете!

Живы, родные, и в последней смерти.

Последний приговор — тоже зеркало.

Криво, темно грешник отразится. Заплачет. Ярko праведник воссияет. Восстанет из скрещенья зеркальных, могучих лучей. Сдвинутся стекла, дрогнет и вдаль из-под рук поплывёт амальгама. Если ты закроешь глаза, отраженьё исчезнет. Не гляди. Ослепни. Ты слеп. Ты всё видишь внутри. Без зеркальных, алмазных, небесных глаз.

НИКОЛАЙ

Они, втроём, пропали.

Пропали и пропали.

Она, доктор и ребёнок.

Начальство охранников на поиски отрядило, с винтовками. Ни записки не оставили, ничего. Охрана пошла сначала вдоль берега моря, по берегу прочёсывать. Никого. Я, когда домой пришёл вечером из лазарета, и никого, комната пустая, я сразу догадался. Это не доктор виноват. Это она сама его подбила. Я видел: я ей не мил. Чужой я ей. Я старался сломать лёд. Да плохой я ледакол оказался. Застрял во льдах и стал тонуть. Не моя война.

А чья?

Война, настоящая, там идёт, вдали. Далеко в море. Далеко на суше. На западе. Ехать надо, пересечь тундру и тайгу, переплыть реки. Тогда достигнешь войны.

Я надел маскхалат и побежал на широких охотничьих лыжах за охраной.

Я сам хотел их найти.

Охранники топтались близ заберега, курили. Один прицелился, чайл подстрелить белька, другой ему помешал. Нагнул ствол и отвёл пулю. Мужик изругался бешено, да скоро остыл, уже смеялся, на Солнце шурился.

— Думаешь, далёко ушли?

— Да ничего я не думаю! Выследим! Не так уж они шустры, чтобы босиком по воде до Кеми увистать!

— Да уж. Босиком не выйдет. У Христа вышло, а у них нет.

— Однако их могла прибудная лодчонка подобрать.

— Не исключено. Тогда начальник нам лишнюю пайку к обеду не выделит.

— Какая там пайка! На хлеб и воду посадит.

Я слушал их слова и не слышал.

Охрана двигалась в одну сторону, а я, будто кто меня в спину толкнул, поехал в другую. Недолго катился. Я увидел их издали. Они чётко смотрелись на ярко-белом снегу. От такого снега можно ослепнуть.

Какое охватило искушение — вздеть винтовку и выстрелить! Я себя поборол. Ещё этого не хватало, убийства. Мало я навидался смертей на войне. И здесь. Здесь люди умирали похлеще, чем на военном театре. Кого охранники забьют до смерти. Кто сам в бараке на гвозде повесится, на рыболовецкой снасти. Кто за ночь замёрзнет, и поутру за ноги узники вытаскивают покойника на белое снежное солнце. И он лежит с улыбкой, как младенец. А меня срочно зовут из лазарета — сделать мертвецу искусственное дыхание. Приду, ругаюсь, плююсь: какое вам дыхание, околел уже. Прикоснусь и руку отдерну: такой ледяной. Будто айсберг ладонью потрогал.

А эти!

Шли и шли, крепко прижавшись. Доктор обнимал её за плечи. Она несла на руках ребёнка. Шли, обнявшись, увязали в снегу, выпрастывали ноги из снега, брели опять, медленно, как во сне,

передвигаясь, нет, это не побег, подумал я горестно, внезапно задрожав, как в простуде, это им просто надо было побыть вдвоём. Да! Она его. А он — её. И делу конец. Я-то тут при чём? Я-то куда сунулся? А ведь сунулся. Зачем? Сам не знаю. От любви погибал? И вроде не погибал. Любую любовь можно в себе затоптать. Любовь, подумаешь, рефлексы, похоть, восстание плоти, запахи кожи, подмышек, шеи, волос.

Ребёнка, сволочи, заморозят. В какую шкуру какого зверя они его укутали?

Как же я любил её! Я это понял лишь сейчас, когда нагонял их, медленно бредущих, на широких таёжных лыжах, умирая от тока бешеной крови в висках и затылке, ловя мороз и Солнце жадным диким ртом, мысли рвались в тряпки, в лоскуты под безумным черепом, то твёрже стали, то мягче парафина, они всё ближе, я всё ближе, расстояние между нами сокращается, ну, сейчас я вас нагоню, вы у меня получите, я толкну вас и уроню в снег, вы будете барахтаться в снегу, пытаться подняться, но не сможете, вы сможете только стоять в снегу на коленях, а ребёнок, он же будет заходиться в хрустальном плаче, в поросычьем визге, он выпадет на чистый снег из горячей шкуры белого медведя, откатится прочь от вас, и я подкачу к нему на лыжах, подхвачу его, крепко прижму к себе. Мой сын! Что они творят, безмозглые уроды! Любились бы, собаки, под кустом! Тебя оставили бы мне!

Тремя, двумя широкими шагами я нагнал их. Они не слышали, как я сзади подъехал. Я прокатил на лыжах вперёд, остановился перед ними. Они встали. Они не особенно удивились. Думаю, им было всё равно. В их глазах блестели слёзы. И у него, и у неё.

— Ну что, балбесы? Погуляли?!

Ребёнок на руках матери спал крепко. Не просыпался.

— Погуляли, — тихо ответила она.

Её синие глаза перестали на меня смотреть и стали обводить большой, огромный круг. Она обводила ярко-синим, небесным взглядом небо, ледяное иконописное Солнце, сугробы, волнами катящиеся по тундре, чисто-белую кромку льда, серую рябь живой далёкой воды.

— Жаль, что ты меня не убил. Там. На войне,

— сказал доктор. Его бороду пошевеливал солёный ветер.

— Это мне жаль, что ты меня не убил.

Я сам не знал, как у меня это вырвалось.

Мы стояли друг против друга, и подводный страх двойного зеркала обнял меня: я отражался в нём, а он во мне.

— Ну что? Заворачивай оглобли!

Мать с ребёнком стояла посреди снегов. Как не отсюда. Как неживая. А небесной кистью написанная, беличьей, колонковой голубизной.

Я пытался заглянуть в её глаза. Бесполезно. Она смотрела мимо меня и сквозь меня. Не видела меня. Я для неё был никто.

Охранники подкатили к нам. Им даже не понадобилось наставлять старые ружьишки на мать, доктора и дитя. Они сами пошли, покорно, так же медленно, но теперь не вперёд, а назад. Беда в том, что назад они шли, как вперёд. Назад, а всё равно вперёд.

Я катил за ними, и слёзы, чёртовы слёзы наполняли мне глаза, я твердил себе: это ветер, это от ветра, на морозе, утирал мокрые подглазья и скулы рукавицей, а чёртова жидкость всё катилась из-под глазных яблок, круглых, безумных, слепых, я бы хотел ослепнуть, ничего больше не видеть, я же видел, как он смотрел на неё, а она на него, и вот ведём мы их домой, а дом наш тюрьма, а игрушки наши — пули и колючка, и я знаю, им никакая смерть не страшна, они здесь как на войне, а по правде они уже умерли, и я сейчас наблюдаю их бесплотные души, вот идут две души, впереди, и я за ними, и я плачу сам о себе, и спина трясётся, а они идут, обнявшись, тесно прижавшись, и я хочу плюнуть им в спину, и не могу, потому что не понимаю, что уже молось за них. Я никогда никакому Богу не молился. Всё это придумки, измышления. Человек Богом себя успокаивает, только и всего. А сейчас я шёл за ними и молился им и за них. Впервые в жизни.

Я на всю жизнь запомнил, что я в той снежной пустыне бормотал.

Милые люди, ну вы давайте, не сдавайтесь, вы только живите. Вас убивать будут, а вы только живите. Бить будут, наплюйте. На мороз голяком выведут — улыбайтесь. Я вижу, я слышу вас. Лучше вас нет. Я вас ненавижу, потому что вы любите друг друга. Я вас люблю, ведь у меня нет друго-

го выхода. Люблю и ненавижу, вот ведь как. Так бывает. Ненавижу и люблю. Обоих. Да вы давно одно. Зачем я вас узнал? Это всё война. Она нас свела. Только не падайте в снег. Только идите. Идите. Уже недолго.

Как так получилось, что шёлкнули затвором во мне, глубоко? Там, куда мне самому хода не было никогда. Я подкатил на лыжах к дому начальника. Протянул руки к Душеньке: мол, дай мне ребёнка, понесу, ты устала, наверх по лестнице одна поднимешься, а я с младенцем за тобой. Доктор застыл рядом. Глядел круглыми глазами. Круглыми совиными очками.

Охрана заворчала.

— Да мы бы тебя отвели за бараки, дрянь такая, и шлёпнули!.. если бы ты не врачевал тут. Костоправ...

— Товарищ хирург, вы к себе давайте!.. заволодали на ветру-то.

— А этого козлина бородатого уж до барака доведём... не потеряем по дороге.

Я глядел на охранников и не видел их.

— Ступайте, ступайте. Доктор поднимется ко мне, я его чаем напою.

— Ну, чаем так чаем... как решили уж...

— Идите, товарищи доктора... ты, поп, больше такого не твори, иначе...

Душенька крепче прижала к себе ребёнка. Поднималась по лестнице первой, мы за ней.

Ввалились в комнатёнку. Запахло кислым молоком. Душенька положила младенца на диван. Он проснулся и громко заплакал.

Я был, стоя тут, рядом, его зеркалом, и в моём чёрном бездонном стекле всё громче плакал он, а это я, я плакал.

АЛЕКСЕЙ

Кармен, Дульсинея, Офелия, Марфа, чья-то чужая Душа; сорванная со стены чудотворная икона. Образ синеглазый. Детонька, ты слушаешь? Слышишь... Я сам себя не слышу. Голос тоже может слепнуть. Говорю, а звука нет. Обезголосел. Моя Душа смертельно больна. Я бы мог сделать ей операцию. Надсечь дрожащий внутри нерв. Выбрать единственно верное место и полоснуть по нему скальпелем. Хирург, его дело та-

кое: молиться и резать, резать и молиться. В операционной начальник навесил новые электрические лампы, и санитарка больше не стояла над нами с керосиновым светильником. Ребёнка успокоили, мать покормила его, я глядел, как она суёт ему грудь, а он крепко вцепляется беззубыми дёснами в лиловый изжёванный сосок. Я не помню, дитя моё, кто из нас первый начал вселенскую ссору. Человек это Вселенная, и один звёздный остров наползает на другой, и сшибаются звёзды, пытаюсь пройти друг сквозь друга. Свет сквозь свет. Не задеть. А всё равно задеваем. Лучами друг друга раним. Борьба! Её не уничтожишь. Как часто видел я её во сне! В ярких виденьях моих! Сшибаются лбы. Схлёстываются руки. Мы с Николаем уже бились смертным боем близ родильного ложа нашей любви. И вот, живы мы, и жива она, и жив ребёнок. Так зачем снова ступаем мы в топкую грязь безумия и вражды?

— Ты можешь отсюда исчезнуть. Попросись на поселение. Там, на берегу, если идти на заход Солнца, живут лопари. К ним иди. Начальник отпустит. У тебя много заслуг. Я, слушай, ну пойми ты, можешь меня ударить, казнить, можешь всего исплевать меня, я тебя видеть не хочу. Не могу. Ты как клин, и вбили его в нашу семью.

— Куда мне идти?

— Ненавижу я тебя. Сгинь.

— Я не исполню твою волю. Я не твой слуга. Только волю Бога.

— Провались ты со своим Богом!

Кто первым на кого руку поднял? Я не упомянул. Слепая моя память этого не сохранила. И правильно. Так память защитила меня от воспоминаний, что, возвращаясь, умертвили бы меня. Всяк человек грешник. Я тоже грешник. Господи, помилуй. Господи, прости.

Наша драка: снова, опять, всегда. Накатывается волна Адского прибойя. Человек воюет с человеком. Всё повторяется. Повторяется годовой круг. Повторяются рассвет и закат. Повторяется чувство. Любовь одна. Аллюдей много. Мы повторяем себя. Один лютый бой отразился в другом. Ну, убей меня! Убили же люди Бога своего.

Кашель, кашель, похожий на вопль, женщина задыхается, кашляет дико и надсадно, выворачивает кашлем нутро, захлёбывается, так захлёбываются последними рыданиями, а о чём пла-

кать, не о чем, все мы грешны, все мы несчастны, все мы умрём.

Все?!

Помню лишь одно. Я размахнулся, а Душа моя сунулась под руку мою. И я ударил, мнил я, соперника, а ударил её. И рухнула она на пол, на крашенные масляной краской сосновые половицы, и, падая, сильно ударилась виском о медью обитый острый край сундука.

Сундук. Добро людское. Хранилище. Звери и птицы там живут; соловьи и совы; медведи и песцы; голицы и валенки; простыни и подушки; да вся жизнь человеческая в мощном сундуке жива, вынимай не хочу, расстилай не могу. Душа моя лежала на полу, и ведь я знал это, знал, что так будет. Я видел это. А себе врал, что нет, не будет. Я же всё видел! Всё! До пёрышка! До капли! До позолоты на иконе! А икону слёргивали, швыряли об пол, трескалась она надвое, и её сжигали, сжигали потом на задворках, плясали вокруг неё и пели: мы наш, мы новый Мирь построим! Какой Мирь строим мы сейчас? Какой придёт потом, после, строить нас? Разрушенных, разбитых, нас, руины...

Она лежала. Я стоял. Я знал: ничего сделать нельзя. Мертва.

И это я сам её убил.

Случайно? Ничего нет случайного. Всё предрешено. Наказание мне за все грехи мои; за то, что мало и плохо я боролся за Душу мою, мало и плохо защищал её и любил её. Я сейчас её люблю любовью огромной, огромней Мира, моря и смерти. Николай приблизился ко мне. Лицо его было страшно. Я понял: он меня теперь убьёт. И я хотел этого.

Он поглядел на женщину и тоже понял: нет, не спасти. Я хирург, он хирург, разве мы можем самым острым скальпелем вырезать из человека смерть? Шагнул ко мне, руки его поднялись, я подумал, он обнять меня хочет, а может, задушить. Руки опустились. Он оскалится, скрипел зубами. Хотел кричать, я это видел; кадык надувался на его глотке. Ударил меня в грудь, раз, другой. Я устоял на ногах. Я успел только увидеть, как летит ко мне его рука, сжатая в железный кулак. Железный. Железный.

Плоть может стать железом. Война доказала нам это. Зачем всё так вышло? Мы хирурги, я

учился у него, он учился у меня. Наше мастерство кроваво и свято, мы возрождаем жизнь посреди смерти; зачем ты, Душа моя, вклинилась, затесалась между нами? И вот хирургов нет, а есть два несчастных человека, и один несчастный бьёт другого беднягу кулаком; крепко; страшно; в лицо. Выбивает глаз. Если бы это был палач! А я был казнимый! Святое семейство! Не моё, чужое! Зачем теперь убита мать, а отец ослеп от ненависти! ...а я, я ослеп от любви.

Я сам убил мою Душу, чтобы её спасти от позора и зла, чтобы она воскресла. Я явился рукой Бога. Нет руки диавола; есть только Божия воля. Я читаю Его письмена. Пою Его псалмы.

Губы мои дрожали. Кровь лилась из глазницы. Глазное яблоко всмятку. Оперировать бесполезно. Забрось скальпель твой в светлую, слезную волну. Отработал ты. Одноглазых хирургов не бывает, так же, как одноглазых Херувимов и Серафимов. Слепой хирург, дитя моё, всё равно что глухой музыкант. Я себя уговаривал: значит, теперь у тебя будут зрячие пальцы. Зрячей твоей Души нет. Как ты будешь видеть вдаль? Как будешь пророчить? Избрал тебя Бог жезлом Своим, и обездолил тебя Бог, низвергнув в бездну плача; расцветут в иной земле твои пророчества, иное небо ты провидишь.

Сражение двоих. Друзья либо враги. Друзья и враги.

Я медленно сел, осел на пол. Рядом с Душенькой.

— Мы братья!

— Нет!

— Тебе кровь мою перелью!

— Нет!

В меня вбивали «нет!», раз, другой, третий, такие великанские кривые гвозди, с широкими шляпками, острые концы, красная ржавчина, чёрное древнее железо, и нет, нет, кричу я призрачной, из снов моих, царице Елене, нет, матушка!.. ты Крест Господень нашла, но нет, не надо из пропитанной кровью земли откапывать гвозди! Гвозди, звёзды. Вбиты по шляпку в чёрную небесную смерть. Я не могу их сосчитать. Ими, гвоздями, в меня вбивают страх. Боль. Любовь. В меня небесными гвоздями вбивают мою смерть. Я умру; и я воскресну. На звёздном Страшном Суде. Они все, звёзды, горели в синих, лазурных

очах нежной Душеньки моей. Всё назначено вынести. Всё записано на скрижалях. Каждый человек, убивая другого, поёт свою песню. Кто же виноват, что песня такая печальная. Это наша война, она может возгореться посреди любого Мира.

Николай стоял надо мной, а я сидел на полу и не мог поглядеть на него единственным глазом.

Спросишь, почему я теперь не вижу ничего? Второй глаз ослеп сам по себе; я не мог остановить развитие глаукомы, она разрасталась внутри, и глаз, деточка, ведь он кусок мозга, выведенный Богом наружу, под лоб; косою конус уходил внутрь моей мысли, разрезал разум, прокалывал пустотой ясноликое стекло, что отражало всё и вся, лишь меня самого отразить не могло. Я всегда был зеркалом всего и вся. Хирург и должен быть зеркалом; он иной раз надевает круглое зеркало на лоб, чтобы отразить пучок направленного ему в лицо света и яснее рассмотреть беду у человека внутри. Я отражал Солнце. Я отражал любовь. А любовь, дитя моё, не нужно отражать. Ею надо светиться. Светить. И, лишившись зренья, я обрёл собственное свечение. Это трудно объяснить, но это так.

Больше я тебе скажу: утратив зренья, я овладел Временем сполна. Я видел его насквозь, я менял времена местами. Я ходил по Времени, как по снегам, по тонкому льду, по холодной воде. Мирь разымался передо мной, как мышцы под лезвием скальпеля, и я разваливал сильными руками края разреза, и выворачивались передо мною наружу все алые и синие внутренности, и я поражался, до чего чудесно всё в человеке было устроено Богом; ослепнув, я видел землю, небеса и дух, я видел насквозь, до дна прозрачную душу и утлое тело, мы плывём в лодке тела, и вдали остров, а может, айсберг, а может, зеркало, новый материк, безлюдная снежная пустыня.

— Что я наделал...

Он сел на пол рядом со мной.

Душа моя бездвижно лежала рядом с нами.

— Ты не виноват.

Я в первый раз назвал его на «ты».

Он согнулся, будто переломился пополам, уткнул лицо в ладони.

— Нет. Виноват. Мне наказания нет. Мне только смерть.

— Не плачь, брат.

Он отнял руки от лица, и я испугался его лица.

— Сдохнуть хочу!

Воздух зазвенел под ударом безумного вопля.

В ответ на дикий крик вновь заплакал ребёнок.

Я ощутил боль. Вот сейчас я ощутил боль.

Кровь заливала лицо, не сворачивалась. Я улыбнулся Николаю сквозь кровь.

— Есть сын. Его надо растить. Сколько людей вокруг... страдает... и не ропщет. Не гневайся и ты. Знаешь...

Его лицо плескалось в меня уродливыми, адскими волнами.

— Ну что, что?! Что я знаю?!

Я взял его руки залитыми кровью руками. Руки мои дрожали. Такими дрожащими руками не может хирург операцию творить. Нельзя.

— Тебе надо поверить в Бога.

— Брось! Какой Бог! Мы сами себе боги. Да, видишь, плохие!

— Так не говори никогда.

Он плакал, выл и кусал губы в кровь.

— Куда вот ты теперь?! Кривой?!

— Не бойся. Не тревожься. Я уйду отсюда.

— Тебя не выпустят!

— Я сам уйду.

— Тебя убьют!

— Меня уже убивали столько раз, а видишь, живой я.

— И куда же ты пойдешь?! На войну?!

— Если я до неё дойду, рад буду. Правда. Рад.

Я что-то живое, тёплое ощутил на себе. Странно мне стало и горько, хинно, горчично. Меня обхватило странное чужое тепло со всех четырёх сторон. Я не понимал, что это. Это Николай обнял меня, обнимал, пытался обнять крепче, крепче. И весь трясся, сотрясался, качался, дёргался, как в судорогах, да его и били судороги нерождённого, несбывшегося.

Вся плоть Мира есть книга, и её мы читаем; есть песня, и её мы поём. Есть молитва, и часто её шепчут неверующие. Дитя моё! Ах, милая, да ты совсем замёрзла, рученьки твои застыли, не становись ледяной, давай я на тебя своё одеяло накину. Верблюжье одеяло, колючее, да всё уж повитертое, других в лазарете не дают. Я открываю тебе жизнь мою, она шкатулка зеркальная, она старый трельяж, отражайся, любуйся со-

бой, ведь ты это я, так всё просто. Я излечиваю тебя от единственности твоей. Всё связано со всем. И всё сущее во мне; и всё Время в тебе; и всё великое становится малым; и беглый поцелуй становится полнощным небом. Я Алексей, и я ты, и я твой красный платок, туго завязанный у тебя на затылке. Не верь моей слепоте. Не плачь о моей глухоте. Слепой гораздо больше зрячий, чем те, кто видит.

Человек Божий, и человек Адов. Врата Ада не одолеют меня. Значит, тебя. Вижу грядущее и пою его, для себя, для самого себя. Я пою для самого себя. Никто не слышит пение моё. А пройдут времена. Сон в могиле, а станет не до сна. Люди найдут мои песни, найдут, верно тебе говорю, и услышат их, и заплачут над ними, и будут петь их, повторять. Ты же сама первая будешь петь, шептать псалмы мои, заливаясь слезами. Я есмь живая Книга Времени! Я есмь Душа Живая! Я давно уже не врач. Что может слепец? А всё может, на деле. Он может творить хирургию мыслью. Разрезать Время надвое, ломать ему рёбра, делать ему массаж сердца, изымать у него из сердца горячую пулю.

Псалмом вижу! Псалмом лечу! Бинтую псалмом! Псалмом убиваю врага. А может, прощаю! Христос велел простить! Сейчас Христос стал воином. Он сражается. Церковь Его воинствующая. А ведь это Он призывал к миру и счастью! Как же так? Пойми, сражение идёт всегда. Война идёт всё время. Добру зло невозможно принять. Вобрат в себя. Хотя именно это и заповедал нам Господь. А мы всё не можем. Не можем!

Добро, иди сражайся! За будущий Мирь! Пролей реки крови, а потом переступи через них.

Человек Божий, что же ты сегодня придумал? Я придумал идти по земле, пророчествовать, лечить и собирать в котомку Души Живыя. Смеёшься? Как чисто, счастливо ты смеёшься! Заливисто, будто птичка поёт! Посмейся ещё. Так славно на душе становится, когда слышу твой смех. Ты надо мной смеёшься? Смейся! Может, я не батюшка уже, и давным-давно не хирург, а просто больной скоморох. Лежу вот тут, лязгает подо мной койка, холод вползает в оконные щели. Скажу персоналу, чтобы щели забили ватой. Вата-то в лазарете есть? Или всю на больных извели?

Я, ты знаешь, тогда, у тела Души моей, сильно,

очень сильно захотел идти, шагать, шагать. Землю мерить шагами. Кто тебя отсюда отпустит, нащёптывал мне голос безутешный извне, кто тебя помилует, тебя отыщут и подстрелят, как утку, как тюленя. Я, смеясь, отвечал голосу: да, я и утка, и тюлень, и песец, стреляй не хочу. Я всё равно выживу. Рожусь вдругорядь. А надо идти. Ноги идут. Ноги идут. Пока они у меня есть. Пока их не отрубили, не отпилили. Не сломали.

Я пойду собирать Души Живыя по всей земле, в память убитой Душеньки.

Я буду собирать, собирать, грудить к себе всех живых. Приникайте ко мне, жмитесь ко мне, я вас всех обниму. Под крыльями моими, руками, под боками, не под скальпелем острым, а под выдохом тёплым! Целителем хочу быть нежнейшим. Душой лечить. Душенька, слышишь? Ты убита мною, и ты ко мне пришла; и ты меня простила.

В память тебя, мною убитой, я соберу твой хор, твой собор!

Великий собор соберу! Пусть люди смеются! Пусть потешаются! Они всегда глумились, это им суждено. Не отнять весёлого, переливистого смеха. А уж причина найдётся. В честь твою, моя златоволосая, синеглазая! Ты ведь вся земля, вся моя Русь. Русая пшеница, рожь на ветру, всё мое неизбывное небо, синий речной, травный плащ Богородицы. Родила Сына! Моя, и не перестанет быть моей: закрою глаза навек и лягу в родимую землю, и снова моя, и снова твой. Где же тут печаль? Зачем лить слёзы? Люди, сюда! Люди, ко мне! Вы слышали зазывные крики, на торжище, на рынке: люди, люди, торгуй! Люди, люди, налетай, покупай! Теперь другой крик услышите. Мой. Буду кричать вам: собор, собор! Хор и собор! Пойте хором! Вставайте собором! Вставайте! Встаньте! Вы всё лежите на койках, в спальнях ваших, в госпиталях, в лазаретах. На голой земле лежите. В предсмертии. В родах. В рыдании. Встаньте! Встаньте и оглянитесь! Друг друга обнимите! Вас много, а я один, но я кричу вам то, что вы давно хотите, да не можете крикнуть друг другу, крикнуть себе! Встаньте и вспомните!

Вспомните! Ибо Время надо помнить.

Беспамятный есть бес. Не затянутся даже крепко сшитые умелым хирургом раны его.

Вспомните, говорил Господи: Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец всего. Он умер, и Он

воскрес; разве вам этого мало для радости? Радуйтесь! А я буду идти по дорогам и по бездорожью и петь вам Псалтырь. Больше ничего, после гибели Души моей, у меня не осталось.

Так, девонька, я шептал себе, я знал: скоро уйду. Важно сделать первый шаг.

Не помню, как похоронили Душеньку; врач Николай тоже не помнил. Он мне сам сказал. Он удивлённо спросил меня: а ты не помнишь, где мы её похоронили? Я призадумался. Наморщил лоб. Нет, не скажу тебе, где, не вспомню.

Он сам обработал и перевязал мне мой выбитый глаз.

И я, после обработки и перевязки, лёжа на том столе в лазарете, на коем рожала дитя моя Душа, сказал ему: спасибо.

И, ты знаешь, спасибо надо говорить всегда, всегда всем, кто убивает тебя. Кто поднимает на тебя жестокую руку или режущее, грязное слово. Тебе причиняют боль — а ты благодари. Тебя бичуют, поносят, гонят — а ты благодари. Тебя распинают! А ты благодари: ведь ты повторяешь Христов путь. Те, кто убивает тебя, даже не представляют, какое благо они тебе дарят, какую радость. Тебе это покажется странным. Но сама посуди. Ты падаешь наземь, тебя бьют ногами, охаживают плетью, ударяют по голове острым камнем, проклинаят, уничтожают — бьют, бьют, бьют! — а ты живой. На костре сжигают! А ты живой. Под пули ставят! А ты живой. На куски разрезают, и льётся кровь твоя, и пьёт её земля! А ты живой.

Живая.

Душа.

Тебя убили — ты восстала и пошла. Тихо. Босиком. По дороге. По сырому песку. По воде.

Вослед за Христом.

И я с тобой, милая.

Это утро настало, у Времени нет поблажек и пощады. Я не помню, где ночевал. Может, в бараке; может, в сарае у рыбаков, где хранились ловчие сети; может, на каменных плитах в разрушенном храме; может, у Николая. Мы ни слова не сказали ни охранникам, ни начальству, почему я лишился глаза и почему женщина умерла. Нас никто не спросил, где мы покойницу закопали. Все

молчали. Я узнал цену молчанию. Слишком много было смертей вокруг. Устали считать.

Жестокость владычила, волчья царица: узников били, били, били, били, добываясь того, чего хотели и чего не хотели; били из ненависти; били из развлечения, просто потому, что наслаждались. Я понял тогда: насилие не избыть, тесто земли на нём замешано, и одно лишь спасение есть — сохранить свою Душу живу.

Встань, человек! Жива твоя Душа!

Её не избьёшь, не унизишь, не оскорбишь, не избичуешь! Не расстреляешь! Голыми руками не возьмёшь! Твоя Душа есть Бог! И она живая.

Живая.

Душа.

Собирать... собирать их у груди... за пазуху мою... в котомку скитальную... в пригоршню...

Души Живыя, Души мои сладкие, верные, вечные, россыпи полевых цветов...

Утро. Собираться пора. Вот загодя приготовленный мешок. Может, мне его Душенька сшила, из дырявой заштопанной холстины и лоскутьев бараньей кожи. Не помню. Приложил к лицу: запах Душенькин от холста. Что в мешок сложить? Хлеба нет у меня. Людей попрошу меня хлебом оделить. Фляга с водой, солдатская, вот. Её Николай у мёртвого солдата из-под подушки забрал. И что же, что же, что... ещё... забыл...

Зеркало памяти моей всплыло со дна Времени и приблизилось к моему лицу, и в зеркале, глубоко, я увидел: раскрытый контейнер для кипячения инструментов, и там смиренно, тихо лежат скальпель, шприц, иглы, корнцанг, кетгут, зажимы, кюретка, пинцет. Где всё это лежит и спит? В лазарете? Пустят ли туда меня? О, меня туда всегда пускают. Я ведь работаю там. Санитарка, та, что лампу керосиновую над нами с Николаем держала, когда Душенька рожала, низко кланяется мне. Её лицо мне тревожно знакомо. Я отвожу глаза от неё и пытаюсь вспомнить. Не могу.

Я пошёл в лазарет, тихо, нежно ступая по чистому снегу. Север люблю за чистоту, тишину и белизну. Море, да, взбеситься может. Тому был свидетелем. А снег, широкий плат тундры — вот где покой. Для того, кто исстрадался в жизни, огромная белая икона, образ ненаписанной любви, и ложится под сердце, расстилается под ногами, смотришь, шуришь-

ся, ослеплённый Солнцем, и видишь Богородичный лик на ослепительной, безумной белизне. Белизна. Простынки. Халат. Марля. Маска. Бинт, и разматывается упрямо, и обматываю его вокруг пустой больной глазницы, вокруг лба и затылка, вокруг страдающего тела. Тело! Где ты! Душа! Вот ты! У человека вместо тела есть только душа, он сам лишь об этом не знает.

Открыл все двери. Ключ всегда лежал под порогом. Крупные звёзды падали с зенита, били мне светом в бессонное лицо. Да, я не спал ночь, ну и что. Человек рождён, чтобы не спать. Бодрствуйте и молитесь, заповедал Господь.

Поднялся по лестнице. Переступил порог операционной. Подошёл к стеклянному шкафу. Вынул из шкафа контейнер с инструментами. Положил в мешок. Вот теперь всё.

Восстань и виждь, Душа моя!

Тихо спустился по лестнице. Тихо пошёл по дороге. Звёзды снегом били в лицо. Я стравивал их, стирал мокрой ладонью. Мешок угнездился за плечами, между лопаток.

Шёл и шёл. Вышел за ворота. Они были открыты. Кто их открыл?

Шёл и шёл. В меня со сторожевых вышек, где таились часовые, никто не стрелял.

Шёл и шёл. Звёздное небо разостлало над мной свой вышитый алмазами шатёр, воздвиглось над мною, подобно Рождественской наряженной ёлке. О, ёлка небесная, так думал я, идя по дороге, я уж и забыл, когда я праздновал Новый год, Рождество, дни рожденья родных и любимых. Только в Пасху Господню бежало ко мне, быстро перебирая всеми жгучими ногами-лучами, развесёлое Солнце, а я бежал навстречу ему и крепко обнимал его.

Шёл по укатанной машинами дороге. Снежная, белая, дорога тихо сияла во тьме раннего зимнего утра. Кто тут проехал недавно? Чьи на снегу отпечатались шины?

Шёл медленно, никуда не спешил. Души Живые, они же появятся скоро. Сейчас. Я им нужнее, чем они мне. Мы нужны друг другу. Проснитесь! Встаньте! Я иду к вам.

По дороге, навстречу мне, шла девочка. О, дитя, почти как ты, такого же возраста, с такой же

улыбкой и лёгкой походкой. Она гнала перед собой хворостиной овцу, барана, козла и козу.

— Милая! — окликнул я её. Она остановилась, и животные тоже встали. — Жива ли ты?

Девочка, в коротком полушубке, в чёрных валенках, потопала ногами, сбивая с валенок снег. Воззрилась на меня.

— Откуль ты, дяинька?

— А тебе зачем знать?

— Ну и ступай, а я тось побреду.

Уже занесла руку с хворостиной, чтобы вперёд погнать овец и коз.

И тут вдруг вокруг нас стали появляться из воздуха лица, лица, лица. Множество лиц. Сначала лица крутились рядом, призрачные, вспыхивали и гасли и опять возгорались. Потом стали появляться фигуры. Фигуры просвечивали насквозь. Парили, без одежд и голые, Господи, сколько же голых тел я навидался за всю мою врачебную жизнь. Может, то были мои умершие больные? Те, кого я не смог спасти? Они бились в тёмном утреннем воздухе, неслышно хлопали невидимыми крыльями, и я подумал: шестикрылые Серафимы над нами. Лица снижались, лица смотрели нам в лица, близко, пристально, страшно, светло, темно, мне и пастушке. Я услышал шёпот. Они шептали мне в уши. Что? Прислушаться не было возможности. Завывал ветер. Предраассветное небо переливалось лимфой тревоги, сукровью будущих ран.

Я глянул на девочку. Она закинула голову в толстой вязаной шапке, глядела расширенными глазами. Она тоже видела их.

Сжала в руке хворостину.

— А и хтой-то, дяинька?.. томно мне.

Я шагнул к ней и обнял её. Она уткнулась головой в тулуп мой.

— Не бойся, дитя. Они не сделают нам больно. Не мы им нужны, а они нам. Для чего-то важно-го они тут крутятся.

— Нет, дяинька! Давайте я вас-то укрою. Упасу! Мозить, пурга зацнётся. И нас погребёт!

Пурга, да, пурга. Я растревожился не на шутку. Если тут пурга начнётся, и вправду быстро замёрт, погибнешь.

Ветер усиливался. Небо наливалось кровью.

— В избу пойдём?! К тебе?!

Я пытался перекричать ветер.

— Нетуги! В обыдёнку!

— Что это?!

— Да храмина нася!

Уже пуржило. Овца, баран, коза и козёл с трудом пробирались в снегу. Мы вязли в сугробах. Вдали замаячила крошечная, как овечий хвост, деревянная часовенка. Подбрели, уже самими собою, телами нашими проламывая путь в толще снега. Девочка толкнула дверь, первыми вбежали животные, потом вошла она, потом, нагнувшись низко, в малюсенькую дверь вошёл я. Вой ветра утих. Мы стояли в укывище. Маленький дом Бога. Я огляделся. На срубовых стенах иконки. Самодельные; вижу, не богомазы малевали, а местные жители. Кто во что горазд. На берёсте вырезали. На досках яйцом писали, битым кирпичом, рябиновым соком. Одну заприметил. Подошёл. На меня с маленького дощатого квадрата глядел Спас в Силах.

Он так глядел в меня, внутрь меня: душу вынимал.

Душу. Мою.

Я сбросил с плеча на дощатый пол мешок.

— А цо у тя един глазынёк, дяинька?

— Выбили.

— А поись-то у тя есь, дяинька?

— Нет, душенька. Ничего в дорогу не взял. Надеялся, покормят по пути. Люди сердобольные.

— Ахти!.. А и я с утретка не емси.

— Водичка вот есть.

Я наклонился и развязал тесёмки мешка.

И остолбенел.

Мешок был полон вкуснейшей пищи.

Я про такую забыл.

Яркие помидоры, золотые лимоны, куски жареной красной рыбы в маленькой корзине из краснотала, спелая морошка в тuesке, калитки с вареньем, в стеклянной банке алая лососёвая икра, и ложка золотая, витая в той банке торчит, вроде как бери и ешь, а ложка-то витою ручкой да святою позолотой лжицу Причастную напоминает; пышный пирог, и пахнет зелёным луком, и вокруг него маленькие румяные пирожки, пахнут грибами, солёными огурцами, мясом; солёные грузди в фаянсовой миске, жареная кура, завернутая в вощёную бумагу; и хлеб, хлеб, я давненько такого не едал, нежный, ещё тёплый, круглый

ситный и рядом жёлто-белый, сугробный калач, а дух такой, валит с ног; мочёный чеснок, мочёные яблоки, квашеная капуста, вяленая кумжа, варёные яйца, громадные, как серебряные слитки.

Надо было двигаться, говорить, дышать. А я не мог.

Чудо. Чудо.

— Чудо!

— Сто зе ты так-то орёсь, дяинька...

Мы сели на пол часовенки рядом с мешком и стали вытаскивать из мешка яства. Козы и овцы печально смотрели на нас глазами-сливинами. Мы отщипывали от хлеба куски и протягивали им на ладони, и они ели. В дверь с воли зацарапались. Она распахнулась, пурга ворвалась в часовню. Вошёл пёс, большой, рыжий, с подобострастно поджатым хвостом. Повизгивал, юлил.

— Угрюм, дяинька, не бойсь. Угрюм, Угрюм! На-ко мясоцка!

Девочка отломил от жареной куры крылышко и бросила псу. Пёс жадно грыз.

А мы даже не знали, с чего начать.

Пир! Пир горой! Праздник!

После неволи, после ужасов всех!

Зачем это мне? Чем я заслужил?

Рука сама нашарила, я вытащил из мешка бутылку тёмного вина. Вязь наклейки гласила: КАГОРЬ.

Господи, Причастное вино Твоё. Пасхальное... вино...

Откупоривал дрожащими руками.

Я не верю! Не верю! А надо поверить.

Я не верю, но я верую, Господи.

И, если это чудо Твоё, кланяюсь Тебе за чудо, простираюсь на земле, пластаюсь на животе, плачу и смеюсь разом, молитву творю во славу Твою.

Во славу Богородицы; а девочка, девочка-то моя кто? С овцами...

— Пей!

Я протянул ей вино.

Она взяла бутылку обеими маленькими руками и сделала глоток. Щёки её порозовели.

— Ух, баско!..

— Вот и чудесно.

Я отхлебнул вина. Радостью на меня пахнуло.

Что-то будет? Что, что же будет с нами?

Скажи, скажи, великий Бог, о том, о том... что будет... с нами...

Мы разломали большой пирог, и он оказался с зелёным луком и рублеными яйцами; вонзали не зубы в него — нашу новорождённую радость; Дюшенька моя лежала в земле, а мы тут с чужою девчонкой ели, наяривали изумительную еду человеческую, да мы тут с нею были просто небожители, так первые люди ели в Раю, а мы кто такие, разве такое возможно, да нет, чудо надо принимать таким, каково оно есть, не сомневаться в нём. Мы терзали курицу, ломали калач, кусали солёные огурцы, золотая ложка в наших пальцах дрожала, когда мы добывали ею красную икру из глубокой фаянсовой миски; мы руками, жирными, измазанными в соке черемши и в соке лимона, подносили жареную лососину близко к лицу, нюхали шумно, жадно, дерзко, шутя, хохоча, улыбаясь; эта улыбка во все лицо той пастушки, я ее никогда не забуду. Запивали снедь сладким вином, причащались, а исповедью перед этою трапезой в торчащей деревянным пальцем посреди тундры, забытой часовне была вся наша жизнь: у меня — многострадальная, у девчонки — маленькая, безгрешная. Да какие грехи успела совершить она? У бабки шерстяной клубок украла, варежки связать, да на кухне у мамки тарелку разбила: дорожную, тятенька с поморской ярмарки привёз, пыль с неё сдували, с фарфоровой, заморской. Ну, свечу не всякую ночь перед образом жгла, Богородице не молилась. Вот и все грехи.

А я... а я... у меня же не счесть грехов... не счесть...

— Дяинька! — В одной руке пирожок с грибами, в другой помидор свежий, только с грядки. Ест и облизывается. — А само щудно на землицке — ество?

Я сидел, ел, в одной руке кусок красной рыбы, в другой солёный огурец.

— Еда, да, дитятко, одно из чудес, чудо насущное, повседневное, мы сами себе его каждый день творим.

— Дяинька! — Большой глоток из бутылки сделала. — А хтой-то нам щодесеньки-то исделал?

Я видел, захмелела. Ребёнок ведь.

Ей надо объяснить попросту. По-родному. На языке её Мира.

— Мы с тобою где сейчас?

— Как игде? В обыденке.

— В святой часовне, да.

— И стадо тутоцки!

— А ты знаешь, что во храме Божиим совершаются чудеса?

— Да ну ты! Иди ты!

Она хохотала и хотела ещё пить вино, но я отобрал у неё бутылку.

— Хватит. Ешь только. На здоровье чтобы. Девочке вина много нельзя. Слушай вот лучше. Чудо сам Бог. Он творил с людьми чудеса, и сейчас творит. Вот мы сюда пришли. Скрылись от пурги. Бог нам угощение поднёс.

— А мазать, Богородица.

— Такое может быть. Помолимся.

Я оставил еду, встал на колени перед Спасом в Силах и стал молиться.

Девочка послушно, ни слова не понимая, повторяла благодарственную молитву за мной.

Потом овца, баран, козёл, коза и пёс легли на доски часовни, растянулись, и мы легли, и положили головы наши на бока, спины и ноги животных; и так уснули, сладко спали, чисто, радостно, без сновидений, тепло, нежно, обнимая лохматых, кудлатых родных зверей, нюхая мокрую славную шерсть, перебирая в шерсти пальцами, осязая счастье, предвкушая иной праздник. Звери охали и стонали во сне, как люди. Дрыгали ногами, пёс сучил лапами. Остро и сильно пахло козлом; нежно, чисто и раняще, просяще и смиренно — овцою; свет всё мощнее разгорался в щелях деревенской храмины, источали свет самопальные образа,

Сквозь щели часовни стал пробиваться свет.

— Пойдём-ка на воздух! Пурга наверняка утихла!

— Подём, дяинька.

Мы оторвали головы от тёплой, спутанной шерсти спящих зверей, поднялись, отряхнулись, переглянулись весело, взяли за руки и вышли на вольную волю.

Не верил я глазам моим.

Мы очутились в Раю.

Белый плат тундры обратился в слепяще-зелёный ковер, сплошь вышитый алмазами утренней росы. Посреди Райской длинной, водорослевой, колышущейся на ветру травы возвышались Райс-

кие деревья: висели на ветвях золотые, румяные яблоки, мандарины зрели, наливались золотом, мигали крупными сердоликами во тьме изумрудной листвы. Ветер играл листьями, листья шептались меж собой, трава шелестела, и в траве, Господи, кто спал, кто друг с дружкой играл, по разнотравью катался и валялся, кто навстречу нам брёл, кто перепархивал с ветки на ветку, царило, рычало, клекотало, заливисто, самозабвенно пело всё Живое. Медленно шли, осторожно, тихо, важно поднимая хищные лапы, золотые львы, играя хвостами; медленно бродили, в траву валились, улыбаясь и вываливая наждачные языки, волки, и серо-жёлтые шкуры их воинственно топорщились и сверкали на Солнце тысячью искр. Да! Солнце! Солнце!

Солнце испускало мощнейшие лучи, они вставали вокруг слепящего диска неснимаемой короной; жёлтая родная звезда лила лучи наземь белым, золотым молоком, молоко застывало, солнечные сливки замерзали и лежали в густой тёмно-малахитовой траве драгоценными слитками. Всё было драгоценность, а Солнце наипервейшее сокровище. Лежало оно в самой глубине синего небесного сундука! Распахнут сундук, и всем видать золотое счастье! Рай, ты счастье! Вдыхаем Райский Сад! Будоражат и утешают его ароматы, кажутся к ногам его золотые цитрусы, и вот, вот оно, беспечное, весёлое яблоко. С того самого дерева? Да, с того.

Я крепче сжал руку девочки. Её ладошка затрепыхалась в моей руке. Столько людей я разрезал на части, а вот всё никак не привыкну к трепету живой плоти.

Душа! Где ты, где ты, Душа!

— Что, милая?..

— Дяинька!.. спим ли!.. цо такое!..

— Рай!..

Я скинул сапоги. Девочка скинула валенки. Опять взялись за руки и босиком пошли по Райской траве.

Зелёные стрелы, длинные зелёные змеи обвивали, ласкали наши босые ноги. Я пальцами, стопами, пятками целовал землю Рая. Сподобился! Ну, девчонка-то ладно. Она безгрешная. Ей положено. А я тут при чём? Душе, Душе моя, восстань, что спиши!

Вошли под сень дерев, под могучие раскидис-

тые кроны. Неведомые заморские плоды качались, вспыхивали, таяли. Ничего этого нет: сейчас пройдем Рай насквозь, и исчезнет он. А может, переселится, перелетит по синим небесам в Иной Мирь.

Обогнули толстый, в три обхвата, ствол. Резные листья шуршали вверху, пели над нами песню ветра. В траву упало огромное яблоко. Я еле поднял его. Наливное, бока жёлтые, красные полосы, будто кто кровавой пятернёй провёл. Изнутри сочится тихий свет, будто там, внутри яблока, свеча горит.

Держал на ладонях. Девочка глядела зачарованно.

— Оёй, дяинька... Тонь баско...

И это я, я сам протянул ей яблоко.

И ела она.

Откусила смачно, резко, весело острыми, лисьими зубками. Жевала. Зажмурилась от радости.

— Ух!.. Сладко...

Протянула мне надкусанное яблоко, и я ел.

Сладкий терпкий сок пролился в глотку, пьянил не хуже вина.

Там, в Мире Иномъ, нами брошенном, в покосившейся на ветру деревянной часовне сама собою отворилась дверь, и все домашние звери вышли вон, тарасились на сияние Рая, на мандарины в зелёно-угольной, глянцево-листве, на вьющиеся по ветру водяные, болотные волосья травы.

Я понял: есть Мирь и Мирь. Их два. А может, и побольше. Нам не все показывают. Рай, я увидел тебя при жизни, Рай; есть ли то знак, обязан ли я его прочитать? Запомнить?

Истолковать?

Но девочка... девочка...

Лица, лица, лица толклись незримой мошкарою близ меня, вокруг девочки, летали, окружали призрачной тучей, морозящей слёзной стеною, валящим из мрака снегом, а небо над нами так ясно синело, ни признака бури, ни намёка на снег, пурга сгнула, непогода умерла, мы шли по Раю, а зверьё наше шло за нами, и лица наши летели за нами, и опять девочка видела их, и пугалась и жалась ко мне, утыкалась лицом мне в тулуп, я расстегнул тулуп, жарко стало, бросил на траву.

— Сядем... отдохнём... в Раю...

Тулуп глядел в небеса всеми волосьями овечьей

потрёпанной шкуры. Шевелился, как живой. Мы сели на шкуру; когда-то она была живою овцой, бегала, щипала траву, кричала тоскливо в загоне. Девочка опять грызла живое яблоко. Она не боялась его есть. Рядом со мной она ничего не боялась. Даже реющих в воздухе над нами чужих, перламутром плывущих лиц.

— Дяинька... то арханьделы...

— Херувимы да Серафимы, душенька.

Я всё ждал, когда сон оборвётся.

Рай тянулся и кончался. Шёл я и шёл. Длился и длился сон. Всё махала и махала мне ручонкой девчонка, прощаясь навек, и миновал я село, где избы-пятитстенки, а оконца малюсенькие, как тусса. За селом на меня напали разбойники, они сидели верхом на голодных тощих лошадях, а один разбойник на ослице. Это был Гестас. Он ещё не знал, что его завтра распнут. Они затрясли копьями, вытащили из-за пазухи ножи, один сдёрнул с плеча ружьё: все, до одного, хотели меня убить. Это же не война, хотел я крикнуть, это же не война! Зачем человек убивает человека? Чтобы потешиться? Для услады сердца? Чтобы незнакомец первым тебя не убил? Бей первым! Не робей! Сумеешь ли защититься, враг?! Коли не сможешь — подставляй шею! Лик незримый подставляй!

Лица, лица, лица крутились перед мной. Надо мной. За моей спиной. Разбойники стреляли из ружья, махали ножами, но поражали лишь призрачные лица. Из окрестного воздуха на меня, на разбойников текла кровь. Они потрясённо озирались, трогали друг друга, ворчали, вскрикивали: чертовщина! Не понимали они: Мирь Невидимый близок. Ближе, чем мы можем представить.

Я вынимал скальпель из контейнера, взмахивал им и резал воздух. Ветер. Я резал по живому, понимая: не рассечёшь плоть, не вспашешь землю чужой жизни защитным ножом, нет тебе больше Рая. Ни на земле, ни в небе.

Я резал и резал ветер, кромсал по живым невосомым летящим лицам, они метались, обливались небесной кровью, красной, а может, голубой, а может, зелёной, как Райская трава; лица сражались за Мирь Иной, защищали его грудью, а я сражался за Мирь земной, настоящий, ибо мне в нём надо было жить, и моим сомгновеникам жить, а похоронить друг друга мы всегда успеем.

Разбойники отступали, Гестас валился с ослицы в небесный снег, Дисмас гляделся в меня, в зимнее зеркало, я дрожал под старым овечьим тулупом, так дрожит цветок, пробиваясь из-под земли к золотому свету в Эдеме, василёк, ромашка, сияющий шиповник.

Я шёл и шёл, передо мной из тьмы возникали сёла, в них люди сеяли и жали, и заготавливали плоды земли на долгую зиму, и приходили другие люди и стреляли в них, как в зверей; птицы охотились друг за другом, и люди брали с них пример. Я шёл и шёл, а там, в Мире Ином, приходили иные царевичи и иные генералы, и брали власть, и власть отдавали; за реку отбрасывали врага, и птицы, летя над боем, сверху видели, как падают убитые люди в траву, как вода в реке становится красной от крови.

Я шёл и шёл, и видел, как дикие звери, задыхаясь, переплывали реки и морские заливы, спасаясь от огня, от голода, от истребления. Видел, как в полях из-под земли вырастают мертвецы, посеянные в землю войной, и вспоминал мою войну, и видел: она точь-в-точь отражает войну любую. Я видел, как сажают человека в клетку, а человека того знает весь Мирь, а я не могу сказать ему слово утешения, ибо он великий злодей, и на моей родной земле он много содеял непоправимого зла. Люди плясали около его клетки и визжали: убивал, теперь сам смерть вкуси! Око за око, и зуб за зуб, так жили люди раньше, так живут и теперь, и будут так жить; и я ничего не поделаю с ними.

Если уж, Господи, Ты поделаться с людьми ничего не мог, какая же тут моя власть? Нет моей власти. Это я в Твоей власти. А во чьей власти люди, пусть они догадаются сами.

Я шёл и шёл, и на меня из пустоты обрушивался целый отряд, война в разгаре, а я иду, ноги идут, ноги идут, я не могу остановиться, я должен победить, я, одноглазый, худой, нищий, бездомный, и лечить уже не могу, и служить во храме уже не буду, могу только молиться, в пустыне, в тундре, в погибельной тайге, среди зверей и птиц, а люди бывают хуже зверей, я теперь знаю это, да что толку знать; надо любить, вот счастье — любить, даже если за любовь в лицо тебе плюнут. Они скакали, бежали ко мне, они целились в меня, они расстреливали одного меня, гудели машины, ржали лошади, звучали, схлёстываясь,

страшные проклятия, а пули летели мимо, а лошади мимо скакали, спотыкались и на землю ребрастыми боками валились; а реки текли, полные крови, кровь била в берега, и люди, спасаясь от возмездия, бросались в кровь, спасались вплавь, уходя от пуль, гранат, огня, ножей и сабель. Переплывали красную реку — а на том берегу ждали сабли, ножи, огонь, гранаты и пули. Острия и разрывы! Война, она идёт! Она и не кончалась. Душа моя, ты видишь? Ты всё видишь! Что остановит войну? Победа? Но ведь победа — на время. Пройдёт Время, и победа проживёт жизнь, ей назначенную, и умрёт. И люди больше не смогут идти вперёд. Их, как овец и коз, хворостинной погонят назад. В стойло.

Я шёл и шёл, и видел я в разных местах земли, то в домах, сквозь отверстия двери и окна, то на улице, на свежем воздухе, на ветру, на горах и в лесах, во сугробах и в песках, на песчаных берегах рек и в разнотравных лугах, сидящих на табуретах и стульях, а то просто на берёзовых брёвнах, на сваленных старых дубах в три обхвата, спокойных молчаливых прях; они молчали и пряли шерсть, пряли светлые и тёмные нити, нити тянулись, как живые жилы тянутся по рукам и ногам, нити были сами жизни, и одна из нитей, что неведомая Арахна старательно и ловко вытягивала из комка овечьей шерсти, из густого тёплого руна, была моя жизнь; пряжи не смотрели на меня, не обращивались ко мне, они не видели меня, они не видели друг друга, они видели только шерсть, только нить, только пряжу, только круговерть веретена. И я наблюдал их труд издали; мне хотелось встать перед ними на колени, до того эта работа озаряла меня изнутри переливами полнощного Сияния, его синими стрелами, алыми вспышками и зелёным мерцающим шёлком, и я понимал: женщина прядёт, ткёт и вяжет мужскую судьбу, детскую судьбу и всеобщую судьбу, и судьбу Мира ткёт она, безымянная, молчаливая пряха. Я молился за прях. Мысли мои и слёзы мои текли бесконечными, тянущимися из хаоса в Космос нитями.

Я шёл и шёл, и всё сильнее билось сердце во мне, и всё горячее я думал про него, про то, как дух мой незаметно и верно становится моим сердцем. Как мысли входят в сердце? Как там

живут? Где мысли рождаются? Мыслит мозг или же мыслит нечто иное, чему внутри человека имени нет? Василий Великий и инок Каллист, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст называли это иное духом; да ведь и Господь говорил про Дух, и как он ведёт вперёд человека. Шёл ли я сам, или Дух Святой, Параклет Утешитель, меня вёл? Двигательные центры, тепловые, дыхательные, вазомоторные, мы знаем, где они находятся в мозгу; но великой тайной остаются центры, где рождается чувство. Где рождается радость? Горе? Ужас? Печаль? Молитва? Работою клеток можно объяснить всё. Да не получается. Мы объясняем ощущения. А сердце и Дух работают иначе. Сердце, плавильная печь. Плавится в нём и становится жидкой и ослепительной крепчайшая сталь судьбы, воли. Сердце, безумно бьющийся, оплетённый красными волокнами и алыми хвощами кувшин, амфора столетий, большая, бедная живая чаша, крепкий кулак, он сжимается и разжимается, и всё никак не ударит, ибо не бить он хочет, а любить. Сердце рождено любить. Зачем мы посылаем его воевать? Но если не оно победит, так кто же?

Я шёл и шёл, и открывался мне секрет победы: зерно погибает, уходит в землю, прорастает, воскресает Бог. Бога убили — а Он победил. Ты идёшь назад — а назад, как вперёд. Тебя окружают со всех сторон — а ты взовьёшься и полетишь. Твой полёт! Твой народ! Я шёл и шёл, и видел мой народ, любимый, до слезы родной, и мой народ шёл по земле со мной, рядом, впереди и сзади меня, справа и слева, надо мной и подо мной, везде шёл, неизбывно шёл, и это не он со мной шёл, а я с ним шёл, я шёл его дорогой, повторял его слово, пел его песню, веровал его верой, умирал его смертью.

Воскресал его Воскресением.

Я шёл и шёл, и уже не знал, как меня зовут, ведь я сражался со всеми, с кем суждено мне было сразиться, я нападал сам, не ждал, когда на меня набросятся, ибо сзади и впереди, с боков и в небесах, под землёй и среди звёзд, со мною шёл Господь мой.

ГЛЯДИ Я ВЕЗДЕ ИДИ ЗА МНОЙ НЕ БРОСАЙ МЕНЯ

Господи, нет! Господи, я с Тобой! Навсегда!

ГЛУМЯТСЯ НАД ТОБОЙ СМЕЮТСЯ
НАД ТОБОЙ ГОНЯТ ТЕБЯ УБИВАЮТ ТЕ-
БЯ А ТЫ ИДИ ЗА МНОЙ

Иду, Господи!

НАКИНУТ НА ШЕЮ ПЕТЛЮ ПОСЛЕД-
НИМ ДЫХАНЬЕМ МЕНЯ ВОСХВАЛИ

Последний выдох мой Тебе, Господи.

ФРЕСКА ЧЕТВЁРТАЯ. ЗАПАДНАЯ СТЕНА

АЛЕКСЕЙ

Я шёл и шёл, и с места снимались народы, и сшибались армиями и лбами, поднимался Восток, умирал дряхлый Запад, и я сомневался, устоит ли сам человек, выживет ли он, останется ли он жить на земле, отторгающей его, отвергающей. Так возлюбленная отвергает не любимого: уйди! Так иерей молится, отвергая диавола: изыди.

Неужели в последние времена мы живём? Господи, но я вижу иные времена за горами Твоих земных страданий! Если Ты — это мы, то Ты страдаешь вместе с нами. Слепая зараза, мельчайшие существа пожирают людей. Война та же зараза; раз начавшись, она разрастается, не излечивается, и, если не иссечь страдающий член, воспаление перекинется на весь организм. Операция должна быть сделана вовремя. **ВО ВРЕМЯ. ВО ВРЕМЕНИ.**

Во Времени, Господи, а не в ледяной вечности.

Грань Последней Войны отсвечивает режущим алмазом. Последняя Война режет стекло зеркала моего. Тает амальгама, исцарапанная птицами, кошками, волчьими когтями. Умирает полная чудес могучая природа. Мы, люди, можем кончиться в одночасье. Сами не заметим, как это произойдёт. Я шёл и шёл, и говорил себе: ничто не закончится! Ибо Ты, Господи, не попустишь. Машины нас не победят. Не их победа, нет. Они не могут думать. Не могут рождать живое. Не могут слепить человека из железа и наречь его живым. Им только чудится, что они всё это могут. И людям чудится.

Я шёл и думал: если конец человека близок, тогда зачем Бог создавал его по образу и подобию Своему? Что нам назначено сделать на земле, а

чего мы не сможем сделать никогда? Надо ли всех, скопом, стирать громадной звёздной ладонью с лика земли, или есть, есть выход? И открывается маленькая дверь деревянной обшёртки посреди тундры, и выйдем мы на простор, сиречь во Страшный наш Суд?

Я шёл и шёл и плакал: Раю ты мой, Раю, неужели никогда не вернёмся в тебя?

Конец Света. Так часто видел я его. Земля перед главным событием её жизни разделяла поселенцев её. Овцы и козы! Как же я не узнал! Как же не понял... А теперь только, когда шёл и шёл по зимнему пути, узнал и понял.

Северная девочка гнала хворостиной их всех вместе. Вместе! И агнцев, и козлищ! Неразделённо!

Господь разделил... А она... не разделяла...

Так, стадом, и гнала...

Я шёл и шёл, я сам был бараном, сам козлом становился, сам прекращал говорить по-людски и только бляял, стонал, верещал, шевелил безмолвными губами. Ад ещё увижу. Не уstraшусь его. В Раю побывал, да ещё и с Ангелом; и причащался чуду, сотворённому Богородицей. Что мы разрушили? Что впереди, в метели?

Шёл я, медленно подходил. Взорванный и сожжённый храм посреди снежной пустыни. Никого. На сей раз никого. Ни человека, ни скота. Мудрёно зимою встретить Живое. В Раю всё сущее живо. В Аду всё живое гибнет. А при Конце Света, Господи?

Овцы, вы добрые. Вы смиренные, кроткие. Нежные. Шерсть ваша тонкорунная нежна, жарко и сладко в неё зарыться с головой. Смирненно всё примете. Первую смерть и последнюю смерть. Козлы, вы безумные. Вы злые, ненавидящие. Вы несёте под шкуру гибель, протыкаете рогами счастье. Овцы гуртом бегут в радость; козлы шахраются во тьму, в средоточие страха.

Да разве это звери разделяются? Разделены народы.

Увязал я в снегу. Чуть позвякивали мои хирургические инструменты в контейнере моей памяти. Они всегда ко мне возвращались, кто бы их ни отнимал, где бы я их ни терял. Северная стена храма обвалилась. Белели, краснели битые кирпичи. В южной стене зияли огромные дыры. Из-

нутри сквозь них виден белый свет. Снаружи видны тёмные фигуры с золотыми нимбами, летящие по стенам в никуда.

Я подошёл, перекрестился широким крестом и вошёл.

Вошёл в убитый храм.

Внутри мёртвого тела.

Внутри разбитого дома Бога моего.

Я, врач, вошёл в Мирь Бога моего и увидел его изнутри; и стоял, изумлённый; и не мог я излечить его, ибо не было на свете такого врачебного умения, и острых инструментов, и зоркого глаза, чтобы внедриться в него и помочь ему. Будь что будет! Умирай, Мирь!

Вокруг меня, стоящего в разрушенной снарядами церкви, опять начали носиться лица, лица, лица. Они появлялись, обнимали меня, беззвучно кричали, и я видел их разъявленные рты, но не слышал крики. Овцы ли вы, бесконечные лица? Или среди вас затесались проклятые козлы? Зачем мы разделились! Зачем разорвали плоть едину!

Где же ты, Брачная Вечера? Ведь я видал, слышал тебя! Ведь я там тоже был, на брачном пире! По усам текло... а в рот не попало...

Конец Света. Конец Света. Я не разрежу страшную опухоль. Не удалю больше инородное тело. Всё. Отработал своё. Нельзя повернуть назад. И нас разрезали не зря. Господь не возьмёт обратно деяние Его. Если хирург разрезал живое тело, это уже необратимо. Вопрос в том, заживёт ли рана, прежде чем мы, обливаясь последней кровью, войдём в вечные врата.

Бог, Ты так решил! Разве я оспарю решение Твоё!

Козлища блеют оглушительно. Вон, вон они, их морды, среди летящих лиц. Я, с мешком за спиной, озирался во храме. Глядел туда, сюда. Всё летело вне меня, прочь от меня; и всё устремлялось внутрь меня, и всё гнездились во мне.

На лбах козлиц я читал письма; горели на них яркие печатки грехов и пороков, а бедные златорунные овцы сбивались в кучу, в плотный шерстяной стог, их во храм набивалось всё больше, из призрачных они становились настоящими, обступали меня, крепко прижимались ко мне горячими испуганными боками. Кричали. Их крики овечьи превращались

в человечьи. Я тихо плакал, слушая последние вопли и стоны Живого.

Разрушенный храм глядел на мои слёзы.

Кто я? Адам? Адам, вечным сладким яблоком накормивший Еву? Я был единым. Господь разделил меня на мужчину и женщину. Где ты, Душа моя?

Где наш Рай?

Мы прошли по Аду босыми стопами; неужели мы Рай не получим в награду?

Но, дитя моё милое, молчал убитый храм, и молчала дыра в южной стене, куда втекал белый день, и беззвучно кричали лица, лица, лица, вивсь вокруг меня белой страшной метелью: Души мои Живыя.

И я раскрывал им объятия, и они входили в объятия мои, и я чуял, какие они тёплые, телесные, души мои, хоть и невидимые; и скинул я наземь с плеч котомку мою, развязал её, и стали лица, лица, лица падать в неё, набиваться в неё, мзобильно падали туда, в мой пустой мешок, и исчезали, без возврата, не вылетали обратно, не видать никого, а новые всё летят, и от чего они спасались в моей дорожной холстине, от чего прятались? Они ещё не знали: от Страшного Суда не спрячешься.

Были единым, стали двойным. А Христос нас собирал, собирал! Вот я здесь. В расстрелянном храме. Я вижу то, что завтра будет. Нет! Это уже происходит сегодня. Мы, все, живём на земле в наши последние дни.

Лица, лица, лица! Вы что, святые? Нет, вы простые! Вы все простые люди! Вы страдаете, молитесь меня: исцели нас! Вылечи! Ты же можешь! Умеешь! Разрежь нас и вынь из нас большую тьму! А я мотаю головой: нет! Не могу! Вам суждено болеть и умереть! Вам суждено лететь прочь из Рая! Рай, он не спасение! Он просто видение! Он память! Он мечта! Он сладость внезапного чуда! Да сворачивают после пира скатерть-самобранку! И вы летите в бездну! Только в последнем, страшном полёте не отрекайтесь от Бога! Не отрекайтесь!

Лица, лица, лица! Толпы клубящиеся, многочисленные, крылатые! Дьявол никогда не будет прощён. Времени уже нет. Да и воли Бога нет на то. Не покающийся никогда не будет исцелён! На то моей, иерея, воли нет, ибо я Апостольский слу-

житель и волю Господа исполняю. Иное единство обнимает!

А как охота помиловать... простить...

Бог создал весь наш Мирь. Он выше, сильнее и больше Его творения. И Мирь делимый, он весь из частей; а Бог неделим, лишь Он обладает последним единством. Души Живыя влетают в котому мою, а люди всего Мира влетают в протянутые им Господом руки. Обними! Не покинь!

Почему диавол затевает войну? Хочет так измотать воюющих людей, чтобы они воскликнули: хватит крови! Объединимся! Обнимемся! Единой сделаем землю! А Бога, Бога с земли изгоним! Земля есть новый Рай! Сами мы его сотворили! А Бог пусть Себе живёт на небесах! Там Ему место!

Я стоял в руинах храма и озирался, и видел пустоту и ничто.

Лица, лица, лица заслоняли от глаз моих взорванные стены, разбитую конху, паруса и барабаны. Лица хотели меня взять к себе. Погодите, милые, ещё приду. Немного ждать.

Здесь, здесь собор. Последний собор. Стою, и надо служить. Кто мне сослужит? Кто сойдёт со стены?

Я обернулся и посмотрел на западную стену. Она была сохранена Богом и Временем.

Ушанка упала с моей головы.

С нагою головой я стоял, и котомка, жадно раскрывшая холщовый рот, валялась у ног. Я глядел на то, на что глядеть смертному было нельзя.

Вот, я видел последнее бытие.

Оно явилось.

Оно, в страшных муках, родилось из чрева Времени, так долго беременного нами.

...вихрь поднимал и нёс вдаль тела. Они сталкивались, вращались; бились по небесному ветру нищие и роскошные одеяния, расшитые смарагдами шелка и затрапезные тряпицы; бархат и ветхая рогожа разрывались, внезапно раздирались надвое, натрое, на множество лоскутов, и в дырах, в разорванных тканях вспыхивали тела людей, тесто их плоти, их животы и груди, ноги и руки, шеи и ключицы, они валились вниз, опять взлетали высоко, взмывали в зенит, летели завитками дыма от рыбацкого ночного костра, и Вселенский ветер раздувал ключья безвременного

дыма, уносил безвозвратно: летели и новорождённые дети, ещё в крови и родильной смазке, могучим ветром выброшенные из бедных зыбок, и голые возлюбленные, что сцепились, слились тесней, чем икринки в брюхе сумасшедшей, на нересте, рыбы, в умалишённом последнем, огнём пылающем объятии, и тяжёлые бабы, они орали недуром, летели, задравши ноги, животы их торчали подобно заснеженным холмам во полях, в отчаянии они вцеплялись пальцами-крючьями, клали дрожащие потные ладони на раздувшиеся без меры животы, и беспомощные старцы, нагие, в улыбке челюсти голые, без единого зуба, щёки в морщинах, висят, собачьи брылы, колочая серебряная щетина предсмертной щёткой топорщится, больные колени не сгибаются, мелко дрожат, и дядьки под хмельком, крепкие, мрачные, плечи шире оглобли, избычась, глядят исподлобья, железными шарами перекатываются под кожей задиристые мышцы, а хищный мрак наполняет тёмным вином радужки будущих убийц; тут летели и владыки в красных атласах и золотых коронах, зубцами сходных с крестьянскими граблями, сжимали в ладонях башню скипетра и круглую землю державы, слепящие лучи веерами расходились от парчи, расшитой кровью и золотной нитью, от горностаевых шкур, накинутых на царственные плечи, пестрящих мёртвыми лапами и чёрными, на снеговой белизне, запятыми мёртвых хвостов, и владычицы в жемчужных ожерельях, в лазуритовых серьгах, заря их широких, на пол-Мира, улыбок мгновенно обращалась в уродство неудержной паники и смертной боли; и земледельцы, обнимающие связки моркови и грязную картошку, несущие за пазухой огурцы и яблоки, и видны были плоды великой земли сквозь их расстёгнутые, перепачканные землёй рубахи, и незримый нож разрезал фрукты, овощи и ягоды, и лился живой сок, сладкий, горький, капли падали вниз, на мощные полночные сутробы и чёрную весеннюю пашню, на солому темно молчащих, нищих изб, на грязь просёлочных дорог и метельное бездорожье; и площадные попрошайки, они летели и на лету курили, торчали жалкие окурки, с мостовой подобранные, в углах их губ, в зубах с грозовой молнией фиксы, они летели и резались в картишки, и ветер вырывал карты у них из пьяных рук, и летели карты по ветру,

по всеобщему безумию, по осени последней; и ребятишки летели, вихрились и клубились, кувыркались во льдах иглистых звёзд, подсакивали, вертелись юлой, катились колесом, раскатывались свёклой и репой, и мальчишки свистели оглушительно, скаля беспризорные рты, кулаками махали, чая крепко ударить незримого супостата, а то и одним сильным ударом убить его, навсегда умертвить, а девчонки тянули тонкие ручонки, раскрывая, как птенцы в гнезде, вопящие страхом рты, желая вцепиться в обод нефтяного облака, в пучок горькой травы, ветром вырванной из стонущей земли и ветром гонимой по небу в никуда, — а ветер не утихал, не умирал, юродивый ветер нёс безумных людей, и одетых и голых, всё дальше, дальше в широкие небеса, и нещадно, неумоимо катились в ночь живые полумные колесницы, и небесные шестерёнки, зубцы, ножи и маховики перемальывали Живое, сдирая с тел роскошь царских мантий и последние жалкие тряпки; и вот, видел я воочию, нищая холстина сползала с плеч, и, цепляясь за голые плечи и груди, трясущимися руками прикрывая в ужасе срам, люди летели, крепко смыкали веки, чтобы не видеть ужас в лицо, орали, вопили, хрипели, плакали, смеялись без ума, летели, летели, летели, нагие, в пустоту, крутились над сурово молчащей внизу землёй, обращались в единую голую бурю, в один блаженный нагой ветер, в ловчую сеть последнего урагана, в бешеный раструб пылающей смерти.

И я стоял, задрав башку мою, и зрел, недостойный иерей: летят! Летят! Летят люди, да, летит мой озверелый, отчаянный Мирь! Летят во дне, летят в ночи, летят над торжищем в лучах рассвета! Летят над последним сражением, где мы утонем в криках и крови! Летят над колючею проволокой, над белым медвежьим морем, над моим навсегда разрушенным храмом! Над ледяным, древним черепом святого камня! Летят приговорённо и стремглав, катясь по небесам, раскинув руки-ноги, колёсами вращаясь, и не остановить, срок пришёл, час назначенный пробил, вырвался из нутра последний страшный вопль; вот явился Господь судить нас, и подъял нас всех, грешных, высоко в небеса, а земля-то, она уже далеко, она уже катится прочь от нас, не поймать, не забыть, — и сотворил Господь так, чтобы поднялся и ок-

реп громадный ветер, гневный вихрь, и сорвал с нас одежонку, как утлый стыд, и сорвал с нас ложь, как последнюю боль; и узрел Господь, какие мы бедные, слабые, жалкие, горькие, полынные, как все мы похожи, едины в несчастном умалишеньи нашем, в блаженстве нашем и в отчаянном общем вопле нашем — слуги, лакеи, владыки, нищие, разбойники, распутницы, монахи, нежные младенцы, изморщенные старцы: для всех нас одна была наша судьба, одно наше счастье и одно горе. Не накормишь ты грудью, Душа моя, последним голодом голодную жизнь. И не отвращу я лица моего, Господи, от великого последнего, в небесах, полёта земного, страдального, земляного народа Твоего!

Вот мы! Летим! Зри! Любуйся!

Конец Света ведь лишь раз увидишь!

Я прижмурил глаза. Склеил горячие веки. Выли на ветру, гудели костры. Медленно шли по глубоким колодцам небес алмазные планеты. В глотку мне вливался свинцовый огонь. Военный огонь. Я видел Судный Свет. По ветру летел изодранный плащ. Я сперва плащ увидел. Под ним хитон, в кровавых пятнах. А потом уже, сквозь развеваемые ветром тряпки — голое тело, исполосованное бичом. С хищных туч ветром сбиты оковы. Тучи несутся по ветру куда хотят. Бог улыбается, его уста сверкают молнией.

Тело Бога, ты само бич! Ты воздымаешься, падаешь со свистом: на подставленные спины, на мёртвый камень и на живую кожу. Валит толпа, вся в карминных, хмельных шелках и бархатах, люди пьяны, от отчаянья, от тоски; в метели бьют по ветру плетью женские косы, обвитые алыми лентами, хрипят, скрипят, хохочут повозки, они везут наши гробы, они внезапно застывают посреди каменистой дороги в параличе; в овраге, осиянном синей Луною, страшно ухает сыч. Зима идёт снежными стадами. Звёздным многоглавым стадом. Распахивается зимняя бездна. Я над ней стою. Вижу толпу, множество безумных голов и безумных глаз. Толпа идёт по снегам, по огню, пламя медовое, пламя морковное, пламя красное, ягодное. Над огнём замер старик. Белая борода летит по безумному ветру. Все нынче безумные! А как иначе можно вытерпеть последний Суд!

Бородатый старик, ты моё зеркало! Отражаешь меня. Я себя ясно вижу в тебе. Я пророк, и ты пророк! Что мы с тобою напрогночили друг другу?! Багровый гул! Глад и мор! Землетряс и великую волну с моря! Затопление земли! Крики и плач! Восстание огненных гор! Да, да, не отрицай! Всё это мы с тобой, старик, безумным нашим людям безумно кричали!

Отряси прах от стоп твоих. Небесная Корова взмычала. Ангел вострубил. Потекла по выгибу купола кровь звезды. Господь снова пошёл по водам. Народ валит в расписных понёвах, в бычьих, овечьих и оленьих тулупах, мальчишки вкусно жуют жмых и серу, сосновую смолку, от хода бесконечных поколений повыщела торная дорога, любимая, столбовая, снеговая, и по ней в розвальнях катит, вознося двоеперстие над толпой, боярыня, живая, в слезах... и кричит, сжав добела горькие губы, из угольной черноты измученного лица — раскрытыми в небо очами: да, я не Федосья нынче! я Рахиль! Лия! Суламифь! Магдалина! А её не слышат. Орут, свистят, семечки грызут, снежками бросаются. День умирает, и ночь крылами за плечами встаёт.

Густоворот и колоброд людских слитков, орущих, потных. Я пытку любую вынесу. Я на тонкую лесу любовь нанижу. Хоть сегодня не знать, что всяк умрёт!

Лица, лица, лица. Пляшущая череда лиц. Роятся тяжёлым, густым, ярким роём. Без следа исчезают: за воем волка, рыком рыси. Время ставит на меня, на голую кожу мою нищие заплаты. Я пытался жить без страстей, врач, и не мог. Мало и плохо я лечил вас, люди! Мало и плохо любил! Если бы вернуть Время!

Люди забудут меня. Забудут друг друга. Вот ударил нам в лица последний свет, нездешний, ягодно-кровавый, досиня раскалённый, и встают мёртвые со славой под Судного Дня тяжкий полог. А я, кто я сейчас? Здесь и теперь? Мёртв я, ещё не родился я или жив я и страдаю последней мукой моей?

Я встаю в убитом храме не из земли. Не из гроба, его сиротской деревянной пасти. Стою в обтрёпанных одеждах моих, и в серебре и жемчугах метели, в разводах зимней парчи моя трудовая холстина, залатанная шкура. А кто передо мной? Ты ли это, Душа моя?

Красива ты как... Светишься улыбкой... Давно я не видел тебя. Очи твои любимые, синий, над землёй, поток! Синяя река Богородицына плаща! Золотым пламенем, маслом, мвром текут по спине, плечам, груди твои власы. Ты вся — мой родной народ. Ты зеркало, и отражаешь Богородицу. И весь народ отражаешь. Вбираешь. Любишь. И снова на свет рождаешь. Тебе ли, народ мой, воскресший в Душе моей, пугаться дикого Гееннского огня?!

Гляди, Душа моя, вот он, чугунный Крест! Вознёсся к звёздам в ночи, над бескрайними зимними полями. Тьма огней окрест раскинулась. Замерцала. Стою в разрушенном храме. В пустоту зияния в кирпичной кладке глядит звезда Сириус, в мои бешеные зрачки, их чёрную прорву хлещет чуждальнее пламя. Ко мне из мглы идёт грешник, дрожит на морозе. Старик, в пригоршне его мерцают леденцы, забытые сладости. Я не ребёнок давно, старик, я скоро тебе ровесник, и сласти мне ни к чему! Старик беззуб, страшен. Он сам себе Страшный Суд. Вон, гляди, за храмом блестит под звёздами замёрзшая вода. Засни, орешник, над озером!

Не могу отвернуться от западной стены. Росписи оживают.

Плывут косяками сельдей в ночи, нагло нагие и одетые в немыслимую роскошь, солдаты, попрошайки, богачи, оружейники, командиры, молотобойцы, они плывут на Страшный, на последний наш Суд. Вижу: Ангелы сшивают небеса с землёй ледяною иглой, летят, раздувая могучие крыла. С иглы на землю капает кровь. Я шепчу Ангелам: я не умру, ну, ещё минуту, ну, ещё немножко.

Дегтярный зенит, грозовой воздух, запах давно избытой гари лезет в ноздри, ударяет в глаза. Мне бы два крыла! Такие, как у Ангелов! А может, у меня они есть?

Потоки звёзд расчерчивают небо. Я не заметил, как наступила ночь. Судя по всему, это вечная ночь. Но я-то ещё не умер! Два крыла, хочу два крыла. А вот они, раскинуты во всю ширь надо мной. То Ангел Страшного Суда. Неужели я тебя вижу? Мне страшно!

Под густо текущими реками звёзд толпа вопит отчаянно, а потом умолкает и ждёт.

И вокруг меня роятся всё лица, лица, лица.

Вижу: слева от Креста плывёт плот любви; святые в цветных шёлковых мантиях, вокруг их затылков светятся нимбы, они превращаются то в чистое серебро пурги, то в косые дожди, заливая святые лица и святые руки; а за спинами святых шкурами песцов и горностаев лежат убитые, святые поля. А справа от Креста народ, мелькают лица, лица, лица, грубые, простые и тоже святые. Крепче, надёжнее нет этих лиц! Узнаю, родные! Крепки вы, как церковь, строенная без гвоздя! Фуфайки ваши замасленные! Майки ваши в дырах! Тулупы ваши, как и мой же, в заплатках! Блаженны вы, милые, и блаженна ваша благодать!

Зарево такой любви виднее зимою в завьюженных полях. Вы, нищие! Хрипя, леденея, побираясь, плача в подворотне, засыпая под забором, блаженны вы, мои нищие! Чем вы беднее, тем стозвонней. Уступы срываются, камень рассыпается в песок, разымаются отроги, затягивает мга, преграждает путь буреполом, к пучку соломы подносят плавающий факел, огонь бьётся на ветру хвостом убитой лисы, огонь жадно целует солону, и занимается сухостой, и вспыхивает сруб, и горит мой родной дом, и Содом ударяет в медную тарелку, зык идёт над пламенем, а дом полыхает, подыхает, мой дом, срубленный мною для жизни — умирает!

Ты был для жизни, а стал — для смерти!

Вижу: в огненный окоём, рьяно, рдяно бушующий, ветер толкает грешниц, вот монахины в рясах, вот сёстры милосердия в белых платках с красными крестами, вот учительки с книжкой под мышкой, вот крестьянки в туго завязанных на затылке красных платках, а зачем же вы в огонь собак да кошек бросаете, зверей пощадите, мы, люди, умереть согласны, да разве вместе со всем живым на свете?! Собаки визжат. Живьём сгорят! И нас, и нас с тобою, Душа моя, в огонь ветер толкает!

И нас с тобой вдвоём!

А где мы, Душенька?! О Господи... гляди... мы справа от Креста... на грязном, снежном одеяле... Мы попали с тобою в грешники! Нельзя было нам так любить! В таком съединении дышать и жить! Слеплять уста, сваривать горячим металлом сердца! Старый перстень, когда мы целовались, там, на берегу стального солёного моря, упал с твоего пальца и укатился в воду. Его прог-

лотила рыба. Я, хирург, ту рыбу уже никогда не разрежу, чтобы твой перстень, Душа моя, добыть.

Вижу: красно полыхает Адова печь. Ад рядом. Он под ногами. Железно, ржаво её дикое пламя. А мы с тобой? Где пламя нашей любви? Нам розно ни сгореть, ни лечь. Гляди, вот летит в небесах царь. У него в руках скипетр и держава, а рот его распялен, и он кричит, да мы с тобою не слышим крика. Я понимаю: я скипетр, а ты держава. Нас в обеих руках держит кричащий Бог.

Всё кричит. Кричит труба в полях. Который Ангел вострубил? Ты считала? Я не считал. Забыл. Труба кричит о золоте, о крови и печали. Гроба разверзаются. Земля трескается вдоль и поперёк. Люди восстают из праха. Поднимаются в воздух. Летят. Почему мы с тобой не летим, а здесь, в убитом храме, стоим? Какие гири привязаны к нашим ногам?

Сверкают лица. Вьётся виссон. Звёздная телега влачится. Грешник, вон тот, мой сон, твой сон, гляди, он летит, пытаюсь спастись, а на деле метит прямо в огонь, и вот он доплыл до берега огненно-го, волосы его трещат в пламени, лицо восходит слепой ожоговой Луною над смертной пеленой сияющего ночного поля, над изумрудным мафорием Сияния, над дёгтем купола, тает в крике и стекает в стынь и драгоценный хризопраз небесных белых Медведиц, в горящий рубиновый зрак ленивой древней Рыбы, в узлы ремней дыбы пыталной, заоблачной, и гаснет под орудием людской пытки белый уголь пурги...

Доплыл ты?! Спасся?! Нет! Ты горишь. Встаёшь на колени на кромке берега, перед мощью моря. Наклоняешься. Хвать кусок заберега, ледяной ломоть. Суд, кострище из кострищ, нищий и щедрый равны перед ним, он есть воздаяние без обмана: цепляйся, бедная ладонь, бейся, царапайся в бессилья, жадная рука! Не ухватишься. Не выкарабкаешься! Горит предвечный огонь! Горит, крестись не крестись! Пей не пей рюмку за рюмкой! Не удастся нырнуть в забытьё!

Это последнее пламя.

Так больно горят грешники. Так ярко тают праведники. Вижу: святые люди возносятся, все, да не все, иной и срывается в огненную пропасть, и наряду с грешниками сгорает, то был их выбор, видать, не захотели они оставлять гореть одних родных своих, любимых! Горит восковой наряд

взорванных храмов. Храмы расстреливали и жгли, как людей! Так что ж сейчас-то плакать! Когда всё, всё в последнем огне!

Вижу: сапфирами мерцают радужки. Белки глаз да зубы горят бирюзой. Ты, Душа моя, и в огне красива. Красивее всех закатов и рассветов небесных. Горят кошки, собаки, волки, лисы, коровы. Закипает вода в морях, и горят моря и океаны, ручьи и реки, сугробы и протоки, старицы и озёра. Горят рыбы в воде и черви в земле. Зимнею грозой набухает во мраке небесный свод. Господи, на ледяных власах Твоих — полярная корона, льются по лицу Твоему гранатовые слёзы с колючего венца. Падают на меня Твои красные слёзы. Льются мне по лицу, по телу. Струятся с колен моих, со ступней — во снег. Прожгу тебя стопой, лёд! Тебя, могила!

Душа моя, в Мире сём я был с тобой. Ты любила меня в Мире сём. Я тебя. И здесь, у Мира на краю, следя очами святое последнее пламя, стоя в расстрелянном храме, а сквозь руины летит снег, летят одинокие звёзды, я молюсь иссохшими, жаждущими устами: Господи, воскреси и жить оставь там, потом, после Страшного Суда, когда царство Твоё придёт и продолжится тысячу лет, а иные мертвецы не оживут, спаси — не меня: её! Восстанешь ты, Душа моя, из щели земной. Из той могилы безымянной, куда мы тебя тихо положили. Забыл я твою могилу. Грешник я великий. Но ты, Душа моя, безгрешна. Встанешь ты из гроба, кости твои оденутся плотью, синие глаза поглядят в мои. Всё, я уже не хирург. И не священник. Я просто человек, беспомощный и нежный. Силы все мои на работу ушли и на преодоление мучений. Я раскутываю твой саван, пахнувший смолою, рыбой и ягелем. Я прижимаюсь живою яростью и живой любовью к твоим, Душа, устам. Где тело? Где Душа? Где Дух? А вот они, все вместе. В объятиях моих! Я, как воскресшего Лазаря, тебя обнимаю, снежные пелены с тебя совлекаю. Да это просто белый халат мой лазаретный, в нём я всегда оперировал. Прощайте, операции! Кто же оперирует во Страшный Суд! Припадаю голодным бродячим мальчишкой, беспризорником, к тёплому хлебу твоих плеч, вдыхаю запах хлеба, я тот пацан, которому я сам подарил тулуп с моего плеча. Я его отразил? Он ли зеркало моё? Всё равно. Плечи твои, Душа, укутаны в зверий

мех. Не разберу, какой. Лисий ли, бараний, волчий, козий, медвежий. Слава зверям, что жизни отдали охотнику, чтобы сейчас, в последний раз, согреть тебя. Угрелась ты в шубе. А я раскутаю тебя. Я хочу прижаться к тебе и ощутить тело твоё. Вот и мой тулуп я сброшу с плеч. Пусть валяется рядом с мешком. Вот. Так! Хорошо! Душа моя! Тело моё! Голос мой, ты мною звучишь. Небесный самопал звёзд мечет над нами крупные самоцветы, взрывает блёсткие колёса. Катит Время. Не остановить. Сгорим вместе. Только обнимем крепко. Как можно крепче. Тогда не страшно.

Нас кинули монетами в огонь, чтобы потом, после, сюда вернуться.

Всё возвращается. Даже смерть.

К нам протянута ладонь Бога нашего.

Я целую тебя. Так целую, будто нету смерти и не было никогда.

Она сгорела в огне Страшного Суда. Видишь? Видишь?

...и прижалось к земле Солнце, повинно выходя на холодный небосклон. И видело Солнце сгоревшую в огне землю, и прижались к Богу, горько и безмолвно сидящему на небесном троне Его, деды и внуки, матери и дочери, отцы и сыновья. Лица, лица, лица летели вокруг Бога и мимо Него, вихрились, вспыхивали, пылали. Плакали бедные праведники, видя сверху погибшую землю; и нельзя было в пепле отыскать выживших, и найти Души Живья и Мертвья, ибо смешалось всё в едином небесном котле и рассыпалось на тысячу горьких огней.

Солнце медленно всходило над тундрой, озаряя руины и снега, охотничьи тропы и рыбацьи перевёрнутые обгорелые лодки, белый атлас сугробов, красоту утра и уродство пепелища, счастье и ужас, боль и надежду, кровь и оружие, Мирь и войну.

Беспощадно, лучами прожигая до костей, Солнце осветило старика, лежащего внутри взорванной заброшенной церкви; руки раскинуты, ноги разбросаны по каменным плитам, будто бежит, убегает вдаль, туда, где не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а только жизнь бесконечная. Ветер поднимал и тихо колыхал в снежных утренних сумерках его длинную сивую боро-

ду. Ещё лучи осветили старый холщовый мешок, торчащую из него солдатскую жестяную флягу, выкрашенную краской цвета хаки, иззелена-медный, крупный крест на груди, в распахе рубахи, на суровом гайтане. Ещё ласково, медленно ходили тонкие лучи по стенам, на коих тускло, робко пробиваясь сквозь расколы, выбоины, слои осыпавшейся извёстки и людской жестокости, тихо, нежно горели старые фрески. Фигуры летели над землёй, золотые нимбы сияли над головами. Прокопчённые, цвета уже не разобрать, плащи, затянутые забытой гарью тёмные скорбные лица освещало тихое сусальное золото. Это катились над чёрной землёй золотые планеты. Жалели её. Крестили её. Плакали над ней.

Угас Конец Света.

Начался новый свет, новое небо и новая земля.

Они нашли меня не знаю как. Но нашли.

С собаками, без собак, всё равно.

Я сам поставил знак равенства между собой и Миромь.

Если я есмь Мирь, меня уже никто не сожжёт, кроме Бога.

Девочка моя, чудненькая, ласковая, светлая, а потом меня били. Что плачешь? Не плачь. Мне разбили снова лицо моё, лицо, лицо в кровь. И сильно ударили меня в другой глаз, вспухло подглазье, Время шло, ползло и летело, а всё не рассасывалась гематома; я уже думал, осумкуется, а потом воспалится, а потом абсцесс, а глаз ведь входит в лицевой треугольник смерти, это мы так, хирурги, область лица называем, где если что воспалится, так гной летит с током крови сразу в мозг. И поминай тебя как звали. Нет, абсцесс не возник, зато от ушиба стала стремительно развиваться глаукома; а она неоперабельна, дитятко, нет, её уж никак нельзя взрезать и выпотрошить.

А ещё люди меня били, били и разбили мне левое плечо, оно раскололось внутри меня на части, и я знал: надо обложить плечо гипсом и так долго ходить, таскать гипс месяца три, четыре, а то и полгода, тогда заживёт. Гипс мне, конечно, никакой накладывать на перелом не стали, никто меня в родной лазарет не отвёл, чтобы лечением утешить. Спросишь, а где же прятался мой демон, мой напарник, мой соперник, мой горемыч-

ный, военврач мой, узник, как и я же, доктор Николай? Где скрывался от меня?

Меня сперва, после того, как крепко избили, бросили не в барак, а в пустой холодный, нищий, громадный собор, он стоял ближе всего к воде. Там на всех четырёх стенах, на северной, южной, западной и восточной, не мерцали никакие фрески. Их все давно сбили-сколотили молотками, содрали мастерками и финскими ножами. Только на одной, восточной стене, там, где раньше находился алтарь, просвечивала одна фигура. Единственный мой глаз затягивался левой глаукомы, и я не мог её хорошенько разглядеть. Но подходил близко, и водил по росписи бедными глазами, одним вытекшим, другим тающим, как лёд по весне, пытаюсь различить, кто там намалёван. Изображение, дитя, самое важное зеркало. Тебя, не зная тебя, рисовал художник. Он рисовал тебя не здесь и сейчас, а таким, каким ты, человек, будешь через тридцать лет, если жив будешь; через сто лет, когда помрёшь и косточки твои в земле сырой сгниют; через тысячу лет, когда на камне, где застыл твой бедный лик, и отпечатка от тебя не останется.

Мне казалось, я узнавал на обшарпанной стене Богоматерь в алом хитоне и небесном плаще.

А может, это глядела на меня Мария Магдалина в синем хитоне и в кровавом плаще, не знаю.

Краски мешались, стена кренилась, глаз косил, я падал, пьяный от созерцания Святого.

Святая Святых! Пустой Распятский собор на берегу, до смертной белизны омытый дождями и посечённый снегами, как кости динозавра, только и ждал меня. И вот я пришёл. И я, дитятко, проповедовал в том соборе — для кого, и сам не знал, никто меня не слушал. Я говорил, говорил, говорил и сам слушал мой голос; голос звучал хрипло, тяжело, как у смертельно раненного, и сам себе казался я ожившим ружьём, бряцающим прикладом.

Охранники являлись каждое утро, выхватывали из толпы, спящей вповалку, жертвенных агнцев. Люди вопили, рыдали, не хотели идти на смерть. Их гнали взащей. Мы слышали выстрелы. Я накладывал на себя крестное знамение. Люди матерились, многие дрожали и обнимались. Прощались. Детонька, сколько же раз человек прощается с человеком на земле! И когда отъ-

езжает в далёкие края, и когда сильно хворает, и когда разлучается в любви, и когда умирает. Всюду разлука. На каждом шагу. Вот ты, скажи, ты уже прощалась с кем-нибудь? А я ведь скоро буду с тобой прощаться, радость моя. Час мой близок.

Да и час всея земли близок. Помни это. Не страшись.

Прощание — это молитва. Самая тихая, самая тайная. Самая горестная. Ты ведь больше никогда не увидишь того, кого целуешь перед разлукой. Разлука большая, разлука океанская; разлука глядит волчьей мордой, переливается Сиянием, бьёт в лицо тебе вьюгой. Перейди разлуку. По воде, аки посуху. Будет встреча. Ты вернёшься домой. Я тебе обещаю.

Я лежал в Распятском соборе, говорил-говорил и умолк, проповедь мою слушал маленький лемминг, он приполз в храм в поисках съестного. Я скорчился, скрючился так, чтобы во всём походить на зверька. Я тоже маленький, и я тоже голодный, и мне дом тундра, и я показываю зверьку зубы и мелко-мелко стучу зубами: гляди, лемминг, я это ты, а ты это я, я твоё зеркало, и тоже хочу есть, а не дают. Лемминг смешно дёргал крошечным носом. Я неотрывно смотрел на него. Вот кто понял бы мою проповедь. Лемминг, ты не ранен? Могу тебя перевязать. Нарезать осокой полосок из моей кожи. И заштопать твою.

Тут услышал я: топ-топ, топ-топ, кто-то приближался ко мне. Перешагивал через людские, ещё живые брёвна. Топ, топ, топ. Встал. Я сначала увидел сапоги. Хорошие, добротные, щедро смазанные ваксой сапоги. Сквозь туман перевёл я выше, выше одинокий глаз. Мутно и смутно качался передо мной человек. Шуба расстёгнута. Под шубою белый халат.

Лемминг порскнул прочь. Я разогнул спину. Лёг на спину, глядел одним глазом вверх. Человек протянул мне руку.

— Алексей. Это ты. Вставай.

Я руки ему не подавал. Лежал и смотрел.

Пальцы над моей головой согнулись и разогнулись.

— Ну что ты. Встань.

Он наклонился и сам схватил мою руку, и стал тянуть меня вверх, мол, давай, шевелись.

И я не стал его отвергать. Драться с ним, как

встарь. Нечем драться было. Выпило горе силы. И моё, и общее.

Уцепился я за его руку, он с натугой поднял меня с каменных плит собора.

Мы стояли рядом, голова к голове. Я пошатывался.

Мои круглые очки давным-давно сбил чужой кулак с моего носа, они откатились в яму памяти, потерялись в густом снегу. Зачем мне теперь очки?

Половина лица врача Николая была закрыта белой марлевой маской. Сто раз кипятили бедную марлю. Разлезается на глазах.

И я не знал, улыбается он мне, скалится зло или сложен его рот в неудержном рыдании.

— Алексей. Я тебя нашёл.

— Спасибо.

Солнце пригревало. Снаружи звенела капель, скатывалась вода с дырявой крыши собора, я слышал звон. Он теперь вместо колокольного. Умерший храм — зеркало. Он отражает бессильную злобу заблудившихся во Времени людей.

— Что спасибо. Идём отсюда.

Мы пошли к разбитым дверям, и он поддерживал меня за локоть.

И я не сопротивлялся.

Мы шли по снегу, по Солнцу, по небу. Наст хрустел и проседал под ногами. Шаг, ещё шаг. Мне шаги давались с трудом. Я отражался везде. Я был всюду. Я видел иным, неземным зреньем, вроде как сверху: вот идут по снегу двое мужчин, один старик, другой молодой, а ведь ровесники. Когда молод ты был, ходил ты свободно везде, куда хотел, и сам препоясывался, и ел и пил, что сам желал. Когда состаришься ты, тебя чужие руки препояшут, и в рот тебе будут толкать, чего ты не желаешь ничуть, и поведут тебя туда, куда не хочешь ты. Так сказано в Писании.

Он привёл меня не в дом. Не в барак. Не на берег моря.

Он привёл меня в лазарет.

Мы медленно поднялись по лестнице наверх, Николай взял меня за руку и ввёл в нашу операционную, и я осторожно, будто в операционной волки сидели, переступил порог.

Я просто боялся споткнуться и упасть.

Николай подвёл меня к столу и усадил на табурет.

— Алексей. Слышишь. Я сохранил все твои инструменты. Они теперь мои. Я ими оперирую. Я вырос, ты знаешь. Правда. Умею то, чего раньше не умел. Это тебе спасибо.

— За что?

— Ты меня научил.

— Это я учился у тебя. Ты смелый. А я задумчивый. Медленный. Я всегда уповал на Бога.

— Послушай. Я хочу тебе сказать.

Замолк. Отошёл в сторону. Я слышал, он гремит стекляшками и железяками.

Подошёл.

— Это без градусов нельзя. Вот спирт, вот вода. Давай, как настоящие хирурги. По-нашему. Я без спирта не смогу.

Я видел сквозь слёзный туман, как он разливает спирт по мензуркам, разбавляет водой из пузатого графина.

Ждать я не стал.

— Такое страшное? Давай. Не боюсь.

— А чего тебе сейчас-то бояться. Перебоялся уже.

Он втиснул мне в пальцы мензурку. Она льдом обожгла мне ладонь.

Взял свою.

Лица, лица, лица полетели между нами. Души Живыя.

Простите, родные, не успел я вас всех собрать в мою котому.

— Умер твой сын.

— Твой...

— Пусть мой. Не смог без матери. Не выжил. Скажи молитву твою, как это там у вас, заупокойную.

Я глядел на мензурку в моей руке. Глаз различал хрустальную белизну жидкости в сосуде, а вот риски на мензурке уже не различал.

— Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни... Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего, чадо мое Алексия, и сотвори ему вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие! Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене... Буди благословенно имя Твое, Господи.

Я выпил. Выпил и он.

Спирт глотку обжёг.

Отдышались.

У меня с ветхих валенок тёк на пол растаявший снег.

— Вот так-то.

— Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Алексия, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Николай следил, как я крещусь.

И тут, дитя моё, произошло странное.

Не мог я объяснить тогда, да и теперь не могу.

Бог то ведаёт.

Врач Николай поднялся с табурета и встал передо мной на колени.

Закинув лицо, будто к небу, глядел на меня.

— Окрести меня, пожалуйста. Пока ты ещё... пока твоя рука... и твой глаз...

Он был прав. Рука моя ещё двигалась, и глаз мой ещё видел.

— Хорошо. Пойдём на берег.

— Сейчас?

— А медлить зачем.

В виду ледяного моря я совершил обряд крещения над рабом Божиим Николаем. День был ясный. Солнышко повернуло на весну. Скоро прилетит ширококрылой чайкою тундровое суровое лето, и Солнце будет гореть над Миромъ неугасимой лампадой. Человек с Востока и человек с Запада встретятся грудь на грудь. Войска пробьют небо, пойдут через горы, воды и снега. Виновных накажет безжалостный хлыст. Явится гроза людей и оживит преисподнюю. Новые вожди пронесут с высоких трибун новые речи. Старые газеты сожгут в печи, и люди будут жить без газет, перекидываясь мыслями. Зарядят дожди, и будут идти так долго, что начнётся новый потоп. Растают все льды в океане, он хлынет на сушу людскими слезами и затопит дома и сердца. Молоко, кровь и лягушки низвергнутся с небес. Снова придёт чума, и я, врач, буду ходить с маслом розы и мазать рты и ноздри зачумлённых. Кто воскреснет, а кто умрёт. В устьях рек случатся грандиозные кораблекрушения, а с неба упадут железные колесницы без колёс, без руля и без ветрил. Братья будут сидеть за столом и пировать, и вдруг безумный гнев охватит их, и швырнут они в лица друг другу кружки с вином, и вытащат из-за пазухи ножи, и будут резать и колоть друг друга, зате-

яв жестокое сражение, и окрестные люди будут их разнимать, но бесполезно. Пожары станут пожирать жилища, и внутри каменных громад задохнутся и сгорят дети и старики. Тиран заучит наизусть письма святого. Войско, где тьма тем народу, будет освобождать осаждённую крепость. Владыки Мира будут мириться и ссориться опять. Люди будут умирать от таинственного удушья и рождаться с семью пальцами и двумя головами. Прогремят ужасающие морские битвы. Огонь пойдёт по земле волной. Звери, птицы и гады сгорят в бешеном пламени, а люди побегут, стараясь его опередить. Взойдёт в ночи огромная, как дом, звезда, разрастётся и превратится в небесный город. Из тучи цвета смолы выйдет два Солнца. Человек, как волк, будет выть в лесах. Собаки, кошки, куры и петухи вдосталь напьются крови, а убийца проникнет во дворец, взмахнёт ножом, и назавтра властелина найдут мёртвым близ его размётанной постели, и рану вдоль всего тела на нём. Высоко над угрюмым дворцом будет стоять днём и ночью страшная звезда, и у неё вырастет сверкающий павлиний хвост. Трое юношей будут не на жизнь, а на смерть драться за свободный престол. Змея величиной с кита выползет из моря на берег и будет пугать малых детей. Юродивый старик будет беззубо хохотать на берегу, наблюдая, как торжественно в зените парит белый орёл, и увидит он, как налетит стая птиц и орла заклюёт до крови, до смерти. Заплачет старик. Безумная царевна, тоненькая девочка, подойдёт к старику и тихо его за руку возьмёт. Скажет: не плачь, ещё есть надежда.

Но это всё ещё будет, а сейчас есть берег моря, снег под Солнцем, глядеть больно, какой резучий; даже мои глаза, и слепой и зрячий, ножами белый свет режет. Щурюсь. Стою. Пешнёй мы с Николаем разбили лёд у кромки песка. Николай стоит босиком на снегу, укрывшем сырой песок, раздетый догола. Я говорю святые слова, совершаю всё, что нужно, всё, что помню, ибо память моя дрожит и путается, и заранее я у Господа прощения попросил: прости, Жизнедавче, если что не так. Купель крещаемого — море. Елей мой в лазаретном пузырьке, у меня в руках, — растопленный тюлений жир. Крест на груди моей, вот, на гайтане. Николай стоит передо мной у самой воды, а я гляжу на восток, я уже помазал члены кре-

щаемого елеем, он входит в воду, и я, босой, вхожу за ним, мы идём в воде, мы идём по воде, мы идём над водой, заходим в холодную светлую воду по колено, по грудь, дух захватывает, я кладу ладонь на темя Николаю.

— Крещается раб Божий Николай, во имя Отца, аминь.

Легонько нажимаю на голову крещаемого. Он приседает. Я давлу сильнее. Он погружается в море с головой. Я ослабляю нажим. Он пулей выскакивает из ледяной воды. Вода стекает по голему телу его серебряными струями.

— И Сына, аминь.

Опять нажимаю. Опять он ныряет вниз, в воду, с головой.

— И Святаго Духа, аминь.

Ещё нырок. Ещё течёт и плачет вода.

Стоит человек на холоду, обтекает его ветер, обласкивает Солнце чистыми лучами.

Бездвижно стоит. Слушает.

Холод терпит.

— Блажени, ихже оставишася беззакония... и ихже прикрывшася греси. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха, ниже есть во устех его леств. Яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звати ми весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя... возвратихся на страсть... егда унзе ми терн. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповею на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего.

Терпит непосильную работу. Терпит наготу. Терпит смерть жены и сына. Терпит далёкую войну. Терпит голод. Терпит неизвестность. Терпит бесчестие. Терпит новое горе. Терпит всё, что можно вытерпеть. Бог не даёт страдания не по силам.

Не отвергнем страдание: оно дано нам как награда.

Я наклонился, поднял с тающего на Солнце снега одежду Николая и протянул ему.

Он стал одеваться, дрожа на ветру.

— Облачается раб Божий Николай в ризу правды, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Оделся. Глядел на меня.

Я ни у кого, никогда, ни у одного человека не видел таких глаз.

И больше не увижу.

Никогда.

Николай, святитель, доктор великий, делатель чуда! Чудотворче, Угодниче. Разве не стоял ты тогда на берегу морском рядом с нами? Николай, врач от Бога, зачем же ты от Бога бегал всю жизнь? Бог нас на войне спас. Тот, кто войне жив остаётся, даже и не веровал, уверует. Солдаты в бой идут, впервые в жизни молясь. Николай сам с собою чудо совершил? Нет. Господь совершил. Я, Алексей, Божий человек, его просьбу исполнил? Нет. Я лишь скальпель в руке Бога. Бог мною, живым, разрешил чужое сомнение, глум и неверие.

Хирург не тот, кто только режет, кромсает больную плоть. Хирург тот, кто вырезает из человека и удаляет зло.

Война разрезает тело человечества и удаляет опухоль ненависти. Хотя сама она есть ненависть. Кто, если не ты, в руке скальпель держащий? Кто, если не Бог, делящий нас перед Последним Приговором на овец и козлищ?

Там, далеко, идёт война. У нас тут своя война. У рыб своя. У зверей в тундре своя. У тюленей и моржей в море своя. Нет покоя. Вражда, можно ли её когда-нибудь радикально отсечь от тела земли? Выздоровеет ли бедный человек? Затянет ли страшная рана?

Я хотел напророчить нам обоим судьбу — и не мог. Мне казалось это кошунством. Зачем глядеть внутрь себя? Внутри ближнего твоего? Да, всё предрешено. И много чего прозорливого мог бы я спеть нам про нас обоих, да и тебе, дитя моё, про тебя. Да не стану. Не всё можно изъяснить словами. Слова часто семечки, шелуха. Слова вылетают из тебя и улетают по солённому ветру, утекают ручьями по холодной земле. Их сгрызают малютки лемминги, как мелкую рыбу из моря, хватают чайки.

Живи без знания о будущем. Оно и так придёт.

Дитя моё, я часто слышу над собою голос Души моей. Она шепчет, я внимаю. Слова хорошо различаю. Вот недавно она сказала мне такое: война, любимый, да, злодейка. Но она же испытание нам. А испытания, ты всегда это говорил, посылает Бог. Вот я простая медицинская сестра. Сестра милосердия! Так называли нас дав-

ным-давно, так нас и сейчас называют, и впредь будут так называть. Потому что выше милосердия нет ничего. Спасти живое! Надо ещё дорасти до того, чтобы не убивать, а спасать. У нас на войне было так: ты врага спас, значит, ты сам враг! И убить тебя! И весь сказ! А что будет на будущей войне? Враг ранен, а ты наклоняешься над ним, и ты накладываешь ему на кровоточащую руку, ногу жгут, и ты бинтуешь его распаханное осколком брюхо! Кто ты такая после этого, дрянь ты, а не сестра! Разве можно врага жалеть! Его надо убить!

И шепчет моя Душенька: врага — да, надо убить. А раненого человека — да, надо перевязать. Кто пленных пытает, бьёт, режет ножом, а кто пленных кормит-поит, раны им йодом поливает, разговоры с ними ведёт. О войне. О том, кто и почему её начал. И почему мы войну убиваем войной.

Так говорит мне моя Душа, как несмышлёнышу, повторяет: мы войну убиваем войной. Мы правы. Мы идём вперёд. Победим. С верою и правдой.

И я шепчу ей: Душа моя!.. сим победиши.

А она-то слов таких и не знает, и не знала никогда, Душенька моя, из Священного Предания. Она простые слова знала. Хлеб, вода, море, песок, кровь, жизнь, смерть, любовь. Хочешь есть? Хочу спать. Устала! Щи крапивные будешь? Рана моя болит. А разве ты ранена, Душа? Ещё как ранена! Я тебе только не говорила. Всё некогда было. Я ушла на войну слишком юной. Я потеряла детство. Я, ребёнок, уже воевала. И я солдата от смерти на поле боя спасала, на плащ-палатке в лазарет волокла, тяжело мне было, задыхалась, а тут меня и шлёпнуло. Осколок! Да, я тебе не говорила, Алёша, милый, никогда не говорила, и не хотела говорить, а теперь вот с небес говорю: здорово меня тогда накрыло! Боль адская. Осколок под ребро воткнулся. Кровища ручьём потекла! А я бойца на себе тащу. И он раненый, и я раненая. Думаю: а вдруг кто из нас умрёт. Пусть я, так думаю о себе, пусть не он! Я себя на войне забывала, Алёша. Напрочь забывала! На войне — нет меня! И вот, смерть сама нашла меня. И тут же сжала зубы крепко, до боли, до искр перед глазами, и думаю так: нет, врётся, смерть, ты меня сейчас не возьмёшь! Я ещё послужу Родине моей! Жить буду! Спасать ребятшек буду! Вот солдата сейчас до лазарета — дотащу! И не охну! И тащу, облива-

ясь кровью. Дикая боль. Зубы так стискиваю, аж крошатся. И вдруг вижу себя и солдата на брезентухе будто бы издалека. С небес. И я вроде не я, а чистая вода. Теку рекой! Чистой такой, серебряной рекой. А боец вроде как в лодке лежит. Плащ-палатка обратилась в лодку. Плывёт. И я её, ту лодку, на себе качаю. Это как любовь. Странно так. Или это земля качается под нами. Алёша! Ты мне говорил, у тебя была жена и детки, ты от них ушёл на войну. Что ты почувствовал тогда? Что война сильнее семьи? Что они и без тебя проживут? Где они теперь? Ты не знаешь? Вернее, знаешь, но сказать мне не хочешь? Боишься? Смерть любит молчание. Если они умерли, скажи тихо: в жизни есть только смерть; перекрестись и помолись за них. И я, как могу, слова молитвы за тобой повторю. Я молитв не знаю, Алёшенька. Никто меня молиться не учил! Меня учили так: Бога нет! А вот ползу по кровавому полю, ташу на брезенте бойца, и стала рекой, и хоть воду из меня пей, зачерпывай в пригоршню и пей, утоляй жажду, окунай лицо, умывайся, плачь, а я твоя синяя, чистая вода! Разве это не чудо! Чудо ведь, Алёша, чудо! Ну скажи, ведь чудо!

И я говорю Душе моей: чудо, Душа, чудо, самое настоящее чудо. Дотащила ты бойца тогда до лазарета? Она смеётся, я с небес слышу: да, дотащила! Ко мне, вижу, люди бегут, а я уже сознание теряю. И успела только сказать: у солдата ранение в живот, полостное, быстро на стол, обработка, наложить швы, кетгута если нет, шейте рыболовной леской... и всё, ничего не помню.

А ещё я пела солдатам колыбельные! А ещё я в атаку однажды взвод подняла! А ещё я помогала тем, кому руку правую ампутировали, домой письма писать. А ещё я утешала в ночи плачущих. А ещё я кормила солдат моих с ложечки! Как детей! А ещё я их всех помнила по именам! У каждого, у каждого я имя спрашивала! А у кого, кто постарше, и отчество. А они мне шептали: сестрица, у тебя в глазах солнечные лучи! У тебя в глазах небо синее! Небесной Сестрой меня звали. Да, так и звали! Вон, кричат, Небесная Сестра идёт! А я тебе не говорила? Ах, я, плохая! Забывчивая... Да нет, просто я стеснялась тебе себя хвалить! Зачем выхваляться! Ты и без того меня любишь. А я тебя с небес, как на войне моих раненых, сейчас утешаю! Утешаю лучами, утешаю синевой. Сине-

вой обливаю! Синевой обнимаю! Ты же видишь, я в небесах над тобой рею! Я там живу и тебя жду! Я твой Рай. Ты во мне живи! Не умирай! И я тебя не забуду. Я тебя дождусь. Сколько угодно буду ждать. Так вышло, что я в драке нелепой, страшной погибла, как на войне, внутри взрыва, внутри ненависти. А родилась в любовь. Ты мой последний солдат, Алёшенька! Ты мне Николая прости! А он пусть простит тебя! Давайте все простим друг друга! Простить, это самое лучшее на земле. Я навеки твоя сестра милосердия из твоего лазарета! Не забывай меня!

Дитя моё. Видишь, не могу говорить, слезами заливаюсь.

Так и шепчу ей: Душа моя, ну как я могу тебя забыть. Прости меня. Прости меня.

А синева какая за окном! А Солнце какое!

Вижу сердцем весенний свет.

Подойди к окошку, детонька! Распахни створки! Пусть воздух войдёт в палату, ветер.

Сим победиши, промолвил Евсевий Памфил, изъясняя нам жизнь римского царя Константина. Тогда, дитя, тоже была война. Царь увидел на небе крест. Предзнаменование. Знак победы. А я сердцем вижу только синеву.

Налетела бешеная весна, растворялись снега, как соль в кипятке, явилась Пасха Господня, и мы с Николаем целовались троекратно, как положено.

Вокруг нас празднично блестели стеклянные лазаретные шкафы.

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

Серебряно горели скальпели и корнцанги в дымящемся контейнере: инструменты только что прокипятили.

Кипяток, всюду кипяток, свет обжигает, чифир обжигает, будто кипятком обдали мой теряющий зренье глаз, а пустая глазница болела неимоверно. Пойдёт инфекция в мозг, кому мне исповедаться, если смерть меня пристигнет? Самому себе?

Мы день за днём лечили узников, они сами, горемычные, приходили. Кто не мог ходить, тех охрана расстреливала сразу. Не цацкалась.

— Николай, а я ведь побывал в Раю!

Он не смеялся.

– Верю.
 – Знаешь... там изумрудная трава. И мандарины... такие золотые.
 – Хотел бы я хоть одним глазком...
 – Ты будешь в Раю. Обещаю.
 Николай не знал Евангелия. Николай, милый друже мой! Врачу мой! Дисмас мой. Так всё и будет.

Господь, не гневайся, не святотатец я, я не обижу Тебя.

Просто у каждого свой Гестас и свой Дисмас.

Ибо каждый распят бысть.

А Пасха для всех. Все воскресают.

Сын мой, Душа моя! Воскреснете и вы, любимые. Я просто не знаю, когда. В какую земную, небесную Пасху.

В дверь просунулась голова юной санитарки.

– Гляньте, дохтура, как сонечко пылаеть! И лампы не надоть. Гляньте, внизе большой лезить! На брюхо залуецца! Стонеть! Плацеть!

– Хорошо. Сейчас спустимся.

– Для операции лампу-ти стготовить?

– Залей керосину. Солнце к закату клонится. Если оперировать, будем уж потёмну.

Я не мог построить храм из брёвен и досок. Я мог возвести его только мысленно.

На камне я служил Литургию мою, дитя. На большом валуне у воды. Море лизало мне ноги. Передо мной на валуне лежали Святые Дары: пайка хлеба и в мензурке клюквенный сок. Я освящал Дары и плакал от радости. Слезы текли из единственного глаза. Я уже почти ничего не видел. Только слышал море. Я его отражал. Оно отражало меня. Вечное солёное зеркало.

Передо мной, за мной вставал народ. Доносились запахи моря. Водорослей, рыбьей чешуи, сырого песка. Толпы шли, надвигались, били в меня прибоем.

– Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем... имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру! Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его... распятие бо претерпев, смертью смерть разруши...

Народ весь был один причастник. Весь стоял

передо мной, чтобы я его причастил. Нет, я не сходил с ума, деточка, я просто по-иному стал чувствовать мой народ. Шли, и шли, и шли толпы, шли Души Живыя, рабочие и крестьяне, солдаты и генералы, врачи и учителя, кузнецы и пастухи, богомазы и малеванцы ярких плакатов, оружейники и поэты, иереи и бандиты, рыбаки и костоломы, дети и старцы, бабы и герои.

Они все шли прямо на меня, и я видел их, медленно шли, грозно, в шинелях серого сукна, в лаптях и онучах, в зимних военных формах, подбитых пёсьим мехом, кто зряч, кто слеп, как я, вас ещё вижу, братья мои, — шли, с изжелта-зелёными страшными лицами, кто пережил в бою газовую атаку, кто слышал приказ: ни шагу назад!.. — крестьяне, в грубых тяжёлых руках вилы, грабли, лопаты, а кто вон и петуха несёт, к животу прижимает, — красного, ослепительного, кукарекает оглушительно, сумасшедше... то не петух, то огонь, им подожгут и спалят ближнюю деревню, да нет, сто деревень, тысячу, тьму, — петух, жги, жги, кричи на весь Мирь, дух горящий!.. — сто усадеб растоптали, сто церквей повзрывали, а вот он, мальчонка, один, и хлещет дождь, и прячет он, от бури и дождя, под обтёрханное пальтецо иконку, позолота стёрлась с оклада, через лик Спаса трещина бежит, изогнутая молнией... шли матросы, в тельниках, в бушлатах, эй, кто там держит железную кружку в руках, плотает горячее питье, и слышу ледовитый звон зубов о кружку, и кричат матросы: кончен бал, погасли свечи, и в тюрьме моей темно!.. да, кончен бой великих времён, наш корабль торпедирован, наш боцман — Бог, наш штурман — нежный Серафим, а вместо ног у него огни, огни, великие костры... а кто наш лоцман, кто же поведёт нас?.. убили лоцмана, снарядом попали, упал на доски палубы, близ расчехлённой пушки, кровью обливаясь, — шла пацанва, что ела крыс в подвалах, шли девчонки, твои ровесницы, дитя, что на вокзалах, в пельменных, в чепках дешевле гадкого вина продавали свою жизнь; они рядом шли — беспризорник, в кулаке краденую винтовку стискивал, всё шептал: десять пуль, десять пуль!.. и бедняга с волчьей пастью, воришка-щипач, и пахан, много таких я навидался и здесь, на северах, и в столичной темнице; шла мать, закутанная в чёрный платок, у неё сына убили на войне, и она шла сама как покойни-

ца, а жить надо было, и идти надо было, всё вперёд и вперёд, а сын жил лишь тихой молитвою под языком её; все на меня надвигались, все, нищие, голые и босые, на морозе без рубахи, лишь кресты нательные мотаются, а кто из толпы падал под ноги идущим и катился под гору, под откос, к белопенному морю, шли и шли, кто в офицерском кителе, кто в царских эполетах, кто с кровью на груди, пуля навывлет прошла, а они воскресли и идут, и кричат: да будет свет!.. — и опять падают на снег, крася кровью свадебную белизну, а из-под сомкнутых век у них течет горячее стекло; шли бок о бок обходчики железнодорожных путей, наблюдатели рельс, тащили в руках молотки и кувалды, а за ними шли бабы, как по морю корабли, несли громадные тяжёлые животы, подхватывали их обеими руками, а дети жили внутри, глухи и немые, там, в крошечном мраке живых белых трюмов, в тёплой морской воде плодородного брюха: эй, белуга, говорят, ты умеешь громко кричать, так давай вой! реви! живи за двух! жизнь живо оборвётся, не успеешь оглянуться!.. бей не бей отчаянною башкой в молчашую землю... шли в мерлушковых шапках, в хромовых сапогах, в чёрных овечьих катанках, в смешных лапоточках, в грубых надёжных кирзовых сапожищах, в сетках от комаров, от хищного таёжного гнуса, в грязных, простроченных толстой ниткой фуфайках, в промасленных заводских робах, в казачьих папахах, за валом вал, за рядом ряд, шли и шли, так ночь идёт за днём, а день катится за ночью, всё шли и шли, и все на меня, и сметали с лица земли всё, что я знал и любил, все мои жалкие детские погремушки, все мои зеркальные сны, все мои скальпели, чтобы рассекать, и иглы, чтобы крепко, на всю жизнь, зашивать, всё растаптывали, а оставляли мне только себя, и я узрел мой народ, мой великий народ, моё счастье, моё чудо, я, лишь умеющий резать и шить человечесьё тело, я, не знающий человечесью душу, а всё-таки безмерно, безумно верящий в неё, так же сильно, как я веровал в Бога; я, лишь плясун близ операционного ложа, для кого смертного одра, для кого родильной лодки, я, безумец, врач, иерей, урод, отверженный моим народом, а потом крепко возлюбленный им; и я упал наземь перед моим народом; и я раскрыл для крика рот, а не слышать было громкого крика, волна взлетела под облака, а

потом обрушилась на меня и смела меня; Время всадило в грудь мою двуострый меч по рукоять, свеча Солнца сожгла до дна, народ подмял меня под себя, жестоко пройдясь босыми и обутыми стопами по моей белой груди, по белому халату, по белым раскинутым рукам, по белым живым крыльям моим, а я-то и не знал, что я крылат, и перья мои жестоко хрустнули в снегу, меня чужие ноги вмяли в снег, и мой незримый храм надломился, я покатился по насту, мне в спину впечаталась военным огнём голая ступня, вражья или родная, всё равно, и я чуял, как рёбра мои прорастают в землю, как льётся на белый хлеб снега моя кровь сладким и горьким вином, и кость от кости я стал, и плоть от плоти я стал жестокого, единого и единственного народа моего, и стал я в голоду голодному — ломоть, узнику — свобода, забывают — память, убийце — прощение.

И понял я, кто я такой.

И понял, кто такие мы.

И понял, кто идёт за нами вослед из тьмы безумной, крошечной.

И протягивал я народу моему Святое Причастие, протягивал золочёную лжицу, зачерпывая Тело и Кровь Христову из потира — маленькой алюминиевой кастрюльки, сташенной Николаем для меня в кухонном бараке; и пресуществлялись скудная пайка и клюквенный северный сок во Святые Дары, и подходили и подходили люди, и причащал я их и причащал, и так счастливо было мне, так сладко, так слёзно, так высоко, я парил на облаках, я дышал грозой и огнями комет, а народ всё шёл и шёл, всё шёл и шёл, и улыбался мне, и плакал передо мной, и стонал, умирая от ран, и рожали бабы, сначала дико вопя, а потом нежно плача от высокого, занебесного счастья, да, это было Причастие, какого у меня во всю мою жизнь ещё не было, и кто же это шёл в могучей толпе там, там, еле видно, в тумане, в сизой пелене, я ещё не видел его лица, а может, уже не видел, а вокруг вспыхивали, шевелились, мерцали и гасли всё лица, лица, лица... и он подошёл, подошёл ближе, вот он уже рядом, вот он глядит на меня, ах, Господи, кто это, тайну открой!

Почему это лицо человеческое так больно, нежно знакомо мне!

Он шагнул ко мне, вздохнул, чтобы слово сказать, а я уже знал всё.

— Сынок...

— Да, отец.

Мальчик стоял перед мной. Не мальчик уже. В волосах седая паутина. Голубиные лапки морщин в углах ярко-синих глаз. Глаза матери твоей! Души моей! Да разве ты жив, милый! Да разве она умерла!

Не верю... ни во что не верю... всё может измениться всякий час... я слишком хорошо знаю, что маятник... он качается... и качнётся...

— Причасти меня, отец!

Я поднёс ко рту его лжицу со Святыми Дарами.

Тысячи тысяч людей причащал я, а Дары всё не кончались.

Он проглотил Тело и Кровь Христову жадно и быстро — так голодные дети глотают вкусное яство.

— Кто ты, сын мой?

— Я солдат, отец.

Я глядел в небесные глаза.

— Как ты...

Я не мог выговорить: умер.

— Я погиб на войне.

Я плакал, глядя в глаза ему.

— Я думал, сынок, ты младенцем ушёл в небеса.

Он улыбнулся.

— Нет. Времена сместились. Ты знаешь...

— Я знаю.

— Отец! Погляди туда.

Он указал рукой.

Я посмотрел в клубы сизого небесного дыма. Весна. Холодная поморская весна. Кто там шёл, далеко, чуть качаясь, будто ветер путника колыбал, летящего в тумане над людским морем?

Я изо всех сил шурился, жмурился, приставлял ладонь, сложенную в трубочку, к ещё зрячему глазу. Напрасно. Я смутно различал фигуру, но даже не понимал, идёт она ко мне или от меня. Сердце перестукнуло и встало. В полнейшей пустоте я ощутил, что моё тело снова наполняется, обретает силу и радость страсти. Воли. Судьбы.

И я крикнул на всё небо, на весь Мирь:

— Душа моя!

Она шла и шла. Даже не обернулась.

И вдруг остановилась.

Постояла немного. И стала поворачивать голову. Ко мне.

Мой сын крикнул:

— Не смотри!

Я смотрел не глазом. С такого расстояния и зрячий охотник, выстреливающий в красный глаз тетерева, ей в лицо не попадёт. Я смотрел сердцем.

У меня ещё оставалось сердце.

Во мне ещё билось сердце.

Кровавый мешок. Усталый насос. Дом Бога. Храм на Крови.

Меня ещё можно было убить, принести в жертву чему угодно, а потом скальпелем раззать грудную клетку, погрузить руки в чудовищную полость жизни, в её опасный механизм, где шестерёнки вращаются, сплетённые из перевитых сосудов, а рычаги поворачиваются со скрипом и хрустом суставов, а маховик работает при помощи вдоха-выдоха.

Но я совсем не ожидал вместо лица моей Души увидеть красное, страшное пятно. Кровавая грязь, слякоть расползлась, облепила то, что было когда-то её лицом: раздавленные кости, щёки всмятку, лоб и губы разбиты в лепёшку. Она не могла смотреть из-за сгустков крови, свисающих со лба, запекшихся на переносье, на бровях, склеивших ресницы. Такую красную маску увидишь, человек, и перестанешь верить в Бога.

Неужели не упокоилась ты, Душа моя? Я исправно читаю по тебе заупокойные молитвы. Я чту смерть твою и поминаю тебя, и сердце моё помогает мне, иначе я бы упал на землю, обнял бы её рыдающими руками и застыл в бессилии. Из какого ты Зазеркалья? Иди мимо. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!

Мне не надо было даже глядеть.

Она шла сюда.

Ко мне.

К народу моему.

Видела ли она народ наш, толпами идущий ко мне из всех градусов и весей, с берегов далёких морей, с полей и луговин, с отчаянно-пылких и медленно-царственных рек, зеркалами блестевших на погибельном Солнце? Я не знал этого. В горле пересохло. Не надо ничего спрашивать. Живое само знает, сколько ему жить и когда надо уйти.

Она, страшная, в красной маске смерти, шла ко мне, а мой сын её глазами, цвета неба или моря в солнечный день, восхищённо глядел на неё.

Он не видел ступков крови. Шрамов. Запекшихся струпьев. Рваных ран. Он видел только мать.

И, когда она подошла уже слишком близко, опасно, я подумал: мы обнимемся, несчастные, и в нас выстрелят, в нас обоих, и это будет смерть на Солнце, на Мiру, посреди приморской Литургии, посреди оглашенных песцов и оленей и верных птиц, гагар и чаек, зато хоть на миг соединятся во мне моё сердце, моя вера и моя Душа.

Она стояла, да, уже близко. Очень близко. Страшнее лица я не видел.

Будто его били, разбивали тяжкими кузнечными молотами в горячем цехе.

Ничего уже не поправить. Не починить.

Только стоять и смотреть.

И терять от полынных слёз последнее зрение.

— Погляди на неё. Подольше. Запомни её. Ты сможешь, сынок. Я не выдержу. Разум могу потерять.

— А ты веришь, что она настоящая, отец? И всё это правда? Ты же сам учил: жизнь пронизана зеркалами, виденьями, обманом и сном! И Божий сон надо уметь отличить от дьявольского. Мы заглатываем наживку! Крюём на вкусную приманку!

Я не договаривал. Это могло быть видение Мiра Подземного.

Я пророчествами моими обнимал три Мiра, Верхний, Средний и Нижний, но я никогда не видел, чтобы живую Душу расстреливали, чтобы ей колёсами, гусеницами в лепёшку раздавливали лицо, чтобы поседлые её волосы наматывали на руку: за волосы волочь её туда, откуда возврата нет.

Я зажал себе рот рукой. Одним слезящимся глазом глядел на неё.

— Душа моя! Ты ведь умерла!

— Я бессмертна.

Как знаком её чуть хриплый, тихий голос, так часто заходившийся в мучительном, диком кашле! Влажный, нежный, глубокий, как колодец, в её голос нельзя было заглядывать, голова кружилась, и ты тонул во тьме, плеске и блеске далёкой небесной воды.

Я увидел, что она становится меньше ростом. Сжимается. Становится нежной, юной, тонень-

кой. Девочкой. Дитя моё! Становится тобой!

Тобой. Тобой. Тобой!

Ты слышишь? Понимаешь ли?

Да, да, киваешь ты, я всё, всё понимаю. Всё сушее. Да если на свете хоть один человек, что понимает всё сушее? Всю Вселенную? Я думал, такого человека нет. Я прооперировал тысячи людей, и во всех жила душа. Сердце билось. Сердце, оно бьётся внутри души. Это матрёшка. Улитка в ракушке. Сердце, оно глубже души, оно прочно и навеки спрятано в неё. Моя Душа всё уменьшалась, стала маленькой и худенькой, совсем девчонкой, и беленькие коски корзиночкой были заложены у неё на затылке, и вдруг лента развязалась, и коски вырвались двумя пружинами и ударили по плечам. Ты стояла передо мной, Душенька, инфанточка, принцессочка, княжна, царевнушка, и вместо красной дикой лепёшки у тебя опять было нежное, светлое, любящее лицо, и улыбка чайкой летела, и я тебя уже не видел, а только отражал, ибо я пресуществился в зеркало, в простое зеркало, оно висело на срубовой стене лазарета, там, в родной операционной, где столько тел разрезал я, а родной Души больше не нашёл.

О нет! Нашёл! Вот счастье. Дитя, это ты. Щёки разрумьянились твои! Дослушаешь ли ты слепца! Я зрячий. Вижу я всё. Только никто об этом не знает.

Я, знаешь, как пьяный. Слушают моё бормотание и не понимают ничего. А тот, кто понимает, сразу замирает. Внимает.

Я Господа голос повторяю. Вонмем!

Так стояли на берегу, близ весеннего моря, тающих льдин. Ты и я. Девочка и старик. Душа моя и сердце, что спрятано внутри Души. Запомни меня! Прошу тебя! У детей память хорошая, цепкая. Не помни мои страдания! Помни, что я — всех — лечил! Во славу Божию!

Зачем же ты поворачиваешься? Идёшь прочь?

Ты уходишь от меня. Идёшь по берегу моря и уходишь! Да нет, всё сон, всё отражение моей боязни, страха в смертный миг остаться одному, без тебя. Не уходи! Нет. Идёшь. Не оборачиваешься. Маленькая, как белый песок. Течёшь, утекаешь по насту, по снегу сырому, по солёному льду. Уходишь вдаль! Закрываюсь от Солнца ладонью. Провожая тебя единственным глазом. Уходишь.

Я ещё вижу тебя. Твою спину. Твои маленькие ножки, худые, быстрые. Ты уходишь босиком по льду. Идёшь по воде. По солнечному, яркому водяному ковру. В трапезке твоей лазаретной. В этом платье ты подметала палаты, выметала бумаги, грязные бинты и иной мусор. Сжигала его потом в печке. Не сожги память обо мне! Уходишь? Иди. Солнечный день какой! Я ослепну!

Босиком, напролом, наискосок. Я лежу в палате, а ты вышла из палаты, вышла из Зазеркалья. Идёшь. Не оглянись. Я лежу. Мне уже не встать. Я тебя вижу: ты идёшь на восход Солнца, туда, где оно раскидывает по небу осьминожки, травные, водорослевые, полынные лучи. Солнце всё обнимает. И меня. И тебя. Я остался внутри зеркала, а ты вышла и идёшь по весенней, настоящей земле. По широкому небесному морю. Я лежу на смертном одре, я не хочу прощаться с тобой, ведь мы встретимся, зеркала отразятся в иных зеркалах, и бесконечность раскинется, размыется и забьётся живой артерией под резиновой скользкой перчаткой.

Ну, иди, иди, погуляй. Отдохни. Подыши воздухом. Я тоже отдохну. Посплю. Клонит в сон. Не бойся, я не умру. У меня нет на то причин. Ни канцера. Ни чахотки. Ни перелома позвоночника. Ни красной волчанки. Ни сыпного тифа. Ни злокачественной опухоли мозга. Нет ничего, от чего умирают. Поэтому я спокоен. Исчезновение — не такое уж страшное дело. Гораздо страшнее видение. То, что видел я, не дай Господи увидеть никому. И я это вынес, и я остался цел.

Спать! Деточка, я утомил тебя. Иди, иди по хрупкому, опасному льду в открытое море. Там гуляй на просторе. А я буду спать. Не бойся, ты ещё найдёшь меня живым.

Я уснул, и снился мне сон.

Страшный сон. Космос раскрывался раковиной, внутри неё шевелились звёздные змеи. Я стоял на земле, а ночь плясала вокруг меня.

Люди-пауки, люди-черви, люди-стрекозы, люди-жуки ползли, летали, жужжали вокруг меня. Свивали хороводное кольцо.

Таких существ изобрели люди, на горе себе; человек-червяк ползёт, глядит бешеными глазами, думали, он будет собою вскапывать плодородную

землю, а он заползает в постель ребёнка, обвивается вокруг его горла и душит его.

Скрестили человека и гада, и я видел подобных чудовищ в моём сне. Я не мог вынырнуть из сна, и гады торжествовали. Человек-крокодил шёл ко мне, переваливаясь на коротких уродливых лапах. Он разевал длинную зубастую пасть и глядел хитрыми глазами: эти зрачки читали буквы и слова, эти уши, зелёные пельмени, различали человеческую речь. Человек-скорпион воздевал чёрный блестящий хвост, похожий на разорванное железное кольцо. Ядовитая игла на конце хвоста тихо дрожала. Искала жертву. Скорпион, ты же всё понимаешь! Тебе не жить. Чёрные губы растягиваются в ухмылке: ещё как жить! Это вас всех не будет на земле, а я буду!

Человек-змея слишком гибок. Он сбрасывает узорчатую кожу. Он извивается, лебезит, изгибается вкрадчиво, подобострастно. Он весь исходит патокой и превращается в сгусток лести. Он лицемерит, чтобы через мгновение вонзить зубы в чужую плоть, нет, в чужую душу и излить в неё смерть. Убить ведь так просто! И какое же это удовольствие! Возненавидеть. Отомстить. Втоптать в грязь.

Я глядел на человека-змею во сне, и я не верил, что всё так и будет.

Хирург будущего! Что ты будешь делать с живой кровью? Как станешь сочетать несочетаемое? И, главное, зачем?

Зачем ты пойдёшь против Бога? Зачатие — Божие дело. Зачем ты изучишь, украдёшь, повторишь его?

Человек это человек. Зверь это зверь. Змея это змея. Зачем ты будешь соединять их в преступной пробирке твоей?

Хирург неведомых времён! Ты знаешь: человек смертен. Не все операции спасают. Не все лекарства оживляют. Но зачем, зачем ты упорно, зло, страстно, обречённо всё ищешь и ищешь для человека бессмертия?

Бессмертие. Какое оно? Ты, врач грядущего, о, ты догадался. Ты решил восстановить человека из клетки его. Даже из мёртвой ткани, срезанной с останков, истлевающих во гробе.

Вот мельчайшая частица человека, и вот одна его копия, другая, третья, десятая, сотая, тысяч-

ная. Армия людей, как две капли воды похожих друг на друга. Кто они такие? Кто, врач, ответь!

Кто они такие друг другу?

А кто они такие Времени?

Да Время просто смеётся над ними.

Для Времени их нет.

Я спал тяжело и беспокойно, мне снились кошмары, я бродил по лабиринтам довременной тьмы, я проклинал себя, я вцеплялся зубами себе в кулак, чтобы не закричать, я терял последнюю надежду — там, далеко, увидеть человека; но я видел там чудовище.

Я проснулся. Никого не было со мною рядом в палате, и тебя, дитя, тоже не было. Молочный рассвет лился в окна. Я перепутал времена. Пасха Господня уже отзвучала или ещё только летела к нам по синему небу?

Чтобы себя успокоить и развлечь, одинокого, на моей пустынной койке, гремящей панцирной сетке, я стал петь себе псалмы. Псалом изумительная вещь, детонька моя. Как он рождается? Никто не знает. Его не было, и вот он есть. Всё живёт во Времени. Без Времени ничего не кровит ранами-письменами и ничего не растёт — ни на земле, ни внутри тела человека, ни внутри его души. Вот пою, пою, а записать некому. Ах, врач несчастный! Бросил бы врачевание, ходил бы по дорогам, собирал бы в котомку Души Живыя и пел, пел. Вот твоё занятие! Ты, оказывается, уличный певец! А ты думал, ты хирург! А ещё ты думал, ты иерей! Ох, ох. Монахи вон и в кельях поют. Тропари, кондаки, ирмосы и стихиры, иногда духовные песни.

Я пел так: вижу, пока не сомкнулись мои очи, большой огонь будет падать с неба на землю три дня и три ночи. Высоко воздымется нос корабля, накатит волна, и задрожит земля!

Клятвы ничего не стоят: стоят лишь поцелуи, что мы друг другу даём, любя, желая, плача, тоскуя. Дни превратятся в недели, потом в месяцы, потом в года и столетия, а нас, родная, не будет, тогда уже не будет на свете.

Пройдёт двадцать лет, а может, двадцать веков, пройдёт двадцать тысяч лет, разобьётся чугун оков, а власть останется та же, всё те же будут мелькать во тьме белые лица, и мне моё пророчество то ли свершится, то ли приснится.

Ах, сны, мои зеркальные сны! Придут люди с Востока, они поют песни Луны. Они населят преисподнюю и небосклон, они покорят Африку, Алтай и Аквилон.

Мы когда-то жили, Душа моя, под водой. Я был Красная Рыба, золотой был и молодой. Я царил, могучий, на всём синем просторе, когда последней горе бурею поднялось на суше и на море.

Планеты катят по роковым орбитам. Юпитер, Сатурн, Уран, вы нами забыты. Летит прочь от Солнца, одинокая, планета одна. На долгие века вернуться к нам страшные времена!

Всё такие же убийства царей в тронных залах. Всё такие же яд, петля и нож, а вам мучений мало? Всё такие же материки — морями глядят, как иконы. Я вижу смех земли с марсианского небосклона.

Я вижу, Господи, страдания большого народа. Я вижу: нет закона, нет красоты, нет свободы. Нет сегодня, нет завтра и нет вчера, зато нашли богатые залежи нефти, золота и серебра.

Я вижу, Господи, бунт поднимают! Я вижу: посреди площади стоит женщина немая, и объясняется жестами, а на нее с небес синий снег валит и валит, а все мимо идут, а она плачет, ещё не мёртвая, ещё живая.

Жизнь моя, жизнь моя! Какая крошечная, мне непонятно! Жизнь, на Марсе каналы, на Луне коревые пятна! Жизнь моя, земля, море, тюрьма, ветер и небо, и острый скальпель в руке, и в кружке чифир, и кус ржаного, с опилками, хлеба...

Жизнь моя, жизнь моя! Я знаю, что я изменюсь, преобразусь, ну и пусть. Жизнь моя, я к печали больше сердцем не прикоснусь. Ангел на небесах, как белую лошадь, под уздцы ведёт Луну. Боже мой, я же перед смертью глаз не сомкну.

Я буду всё глядеть и глядеть в небо, разбивать сердцем рёбер клетку, я буду, Душа моя, в тебя до дна слепыми глазами глядеть. Я буду целовать тебя, Душа моя, войной и болью окровавленным ртом, и мы с тобой, обнимаясь, никогда не узнаем, что же, что же там будет потом.

Умасти меня молоком и мёдом! Принеси мне благую весть! Дай мне до полночи, до восхода твою упованную Псалтырь прочесть! И упаду, бездыханный, от счастья пьяный, лицом на страницы жёлтые, все в узорах жучка:

этот одр деревянный, этот вор окаянный без лица, без слезы, без пола и потолка.

Это праздник, Душа моя! Вечная Пасха! Я отчаянием рисую радость мою! Я всё вижу: нежно и ясно, я у моря стою на краю. Тихо, тихо. Никого нет убитых. Никого казнённых, сожжённых нет. Только Душа моя в моё сердце влита. Только в глазах моих слепых звёздный Господень свет.

Вот лежу я тут, лежу. Так же человек будет лежать во гробе. Лодкою плыть. Я лодка, милая, я просто лодка из плоти и крови. Сколько людей переплыли во мне с того света обратно на этот свет! Бессчётно.

Стук двери! Нет. Это не ты. Это старая нянечка входит со шваброй, мыть полы в палате. Охает, ахает. У старого человека особое дыхание.

— Ить, милай, дохтур. Неможецца тебе? Пуссяй с тобою слуцицца цюдо.

— Чудо? Да, чудо. Чудо, нянечка, это редкая птица.

— А ты молися, молися.

Я длинная лодка-долблёнка, сосновая, вёрткая, через пороги пройду.

Я зеркало. Я сам удивляюсь, да я уже привык. Отражаю, во мне ходят тенями отражения, серебро вспыхивает, тьма его слизывает, поглощает. Внутри меня, зеркала, живут материки, они движутся. Я отражаю людей, я чую их кривизну. Их прямоту.

Мне немного осталось. Спешу вышептать, выбормотать. Я вода, всего лишь текучая вода. Сквозь меня можно глядеть, и на дне моём увидишь гладкие цветные камни, гранит, гальку, кабошоны сердоликов, куриный бог с дыркой, в неё можно свистеть, или камень тот на бечёвке носить на шее. Нет. На шее надо носить крест Господень.

Врач Николай! Я тебя окрестил. Чудо должно случиться!

Чувствую. Чудо люди чувствуют. Я врач, я батюшка, у меня, как у охотника собачье чутьё на уток, чутьё на чудо.

О, ты уже не врач, и ты уже не батюшка, ты просто слепой умирающий старик на железной койке в лазарете для бедных узников, и тебе даже не подадут пить: тут мало персонала, старая ня-

нечка, два молчаливых мужика, они приносят сюда корзины с едой, да ещё ты. Ты.

Девочка моя. Незабвенное дитя моё.

Если меня спросит Господь: что ты более всего любил в жизни?.. — отвечу ему: когда жажда, пить воду из кружки, поднесённой любимыми руками. Так ты, деточка, подносила мне воду после операции, чтобы жажду я, усталый, утолил. Так подносила к пересохшим, бредовым губам моим холодную колодезную воду в кружке, когда я тифом захворал, несчастная Душа моя.

Я сам вода, меня давали пить больным, мною обмывали новорождённых младенцев и моего родного младенца тоже. Мною заваривали крепкий чай, такой крепкий, что можно было опьянеть и сердце довести до приступа тахикардии, а то и ритм сердечный сбить, заработать экстрасистолу. Я лился, ласкал, рассыпался в брызги, ластился морем, его солёным, ледяным призраком, мощью его торосов к снежным грудям берегов.

Я музыка. Я песня. Я молитва. Я звучу. Неужели, когда я умру, я не буду звучать?

Я зренье, и я слепота. Они примирились во мне. Я их путаю. Они обе спят глубоко во мне, их уже не разбудишь, не выгатишь наружу.

Я не вижу, это печаль моя. Я вижу иным зреньем. Я слеп, и это благо моё. Когда ты слепой, зрение начинает жить в тебе особой жизнью. Ты прозреваешь. Этой судьбы ты у Бога не просил.

Любая судьба, где тебя ждёт слепота, тяжела и прискорбна. Сам себе я не смогу сделать операцию. В город меня никто не повезёт: слишком город далеко, а ведь мы на Острове, и тут только развалины Распятского храма да наш лазарет — каменные здания, остальное всё дощатые бараки да сараи, что дышат на ладан.

А я превратил боль во благо.

Да, слеп! Зато я больше никогда не увижу уродцев, не увижу злого блеска у людей в глазах. Не увижу скалящихся ртов. Не увижу перекошенных от ненависти лиц.

Зато я увижу наш Мирь внутри себя — тот Мирь, что ещё придёт.

Куда же ты пропала, девочка моя?

Я Время. Я просто Время. Не оставляй меня.

Тебе ещё во мне жить.

Знаешь, девонька, когда живёшь среди многих

людей, всего навидуешься. Гораздо торжественнее, гораздо спокойнее жить в затворе: твое зренье и слух направлены внутрь тебя, ты там, внутри себя, слышишь голоса, шумы, музыку, ты видишь Мiры, а тот Мiрь, в коем живёшь, забываешь. Я ничего не забыл. Ни мелкого, ни пошлого, ни подлого, ни чудесного. Такова странная память моя: она всё вбирает, всё приемлет, на всё надеется, всё терпит. Терпи! Терпеть — великий удел. Я тысячи операций сделал, и люди иной раз без анестезии лежали, терпели. Заканчивается новокаин. Заканчивается эфир. Остаётся одна великая боль.

Лежит человек под моим ножом, и в его глазах, на меня глядящих, остаётся одна великая боль.

Любовь. Да. Любовь.

Над любовью теперь смеются. И над теми, кто её исповедует.

Сердце теперь не нужно: важно думать, а не чувствовать.

Чувство, дитя моё, это не центральная нервная система, это не рецепторы под кожей и не вздрагивающие в мозгу нейроны. Чувство это сердце. Иное сердце, не то, кровавый кисет под рёбрами. Я разрезал грудную клетку, сначала прямо по ходу грудины, потом вкось по ходу ребра, из этого разреза добывал сердце и в руках сжимал его, гладил, тискал, делая сердца прямой массаж. Когда я это делал, я думал: где ты, где ты, любовь?

Помню, однажды заключённые цыгане на площади перед бараками вдруг начали петь и плясать. Узники столпились, подбадривали плясунов, хлопали в ладоши. Стояла весна, вот как сейчас. Нежный свет заливал снега. Цыгане босыми ногами шлёпали по площади, ударяли пятками в лужи и разбрызгивали грязную воду, все перепачкались, но так веселились! Это было веселье отчаяния. Радость и отчаянье одновременно. Я это понимал. И все это понимали. Гомонили, кричали, цыганам подпевали. Разбойники тут тоже стояли и хлопали в ладоши, в нашей толпе, рты в улыбке растягивали до ушей. Человеку нужна радость, как хлеб. А цыгане? Их сюда гуртом гнали, как скот. Поселили в отдельном бараке, он зовётся цыганским. Говоришь, ты их видела? Поют ли они до сих пор? Или умолкли?

И вот пляшут они, пляшут, и один цыган вдруг согнулся, наклонился и схватил что-то с земли.

Держал в грязной руке. Окурок! Сокровище для курильщика. В бараках курильщики, мучась, курили всё что угодно: травы, сено, жмых, остатки, в кисетах у солдат, военной махры. И вот цыган, рассмотрев на ладони окурочек, уцепил его двумя пальцами и высоко поднял: вот, мол, чудо! кому надо! а может, сыграем на него, на окурочек! Вкуснятина ведь! Кто веселее спляшет цыганочку — того и курево!

Я в той толпе стоял. И вот выходит вперёд врач Николай. Он в той толпе зрителей тоже пребывал. Плясать будет? Доктор лазаретный? За окурочек? Я готов был поручиться: нет, никогда! А пооди ж ты. Жизнь велика и странна. В ней происходит то, о чём ты и не мог помыслить. Николай меня не видел. А если видел, то в мою сторону не поглядел. Вышел в центр площади. Скинул сапоги. Босые его ноги осыпали первую весеннюю грязь.

И начал он плясать.

Плясал так, что сердце моё захолонуло. Я вспомнил деревню нашу, и отца, и братьев моих, и цыган, что по деревне шатались, и цыганки плясали и гадали, и бабы гнали их со двора, взмахивая полотенцами, а цыганки пронзительно кричали: давай, золотая, я хоть курам твоим погадаю! А мальчишки плясали вместе с цыганами, когда они веселье своё затевали.

Вот так же плясал сейчас Николай. Эх!.. пошёл-распошёл... эй-нэ-нэй, не с того боку зашёл... Гей, ромалы, жги-жги-говори!.. Цыгане пели громко, хрипло, пеньё переходило в отчаянный, надсадный ор, а Николай плясал, всё плясал, всё быстрее и злее, всё чаще по грязи перебирал босыми ногами, портки его изгваздались в грязи, брызги грязи покрывали его весёлое оскаленное бритое лицо, а наглая пляска шла и шла, летела, обнимала бедный свет, Николай закладывал руки за голову и шёл гоголем, сгибал ноги в коленях и резко хлопал себя по ляжкам, вертелся волчком, дёргал плечами под старой брезентовой курткой, и все мы дивились той пляске, а пуше всего цыгане, переглядывались, кричали: наш, наш!.. — и сами хлопали в ладоши, воздух раскалялся, и я в ладоши хлопал, и я скалился и хохотал, и это праздник пляски, в грязи, под ярким бешенством Солнца, я никогда не забуду.

Врач остановился. Пот тёк с него в три ручья.

Вожак, по виду цыганский барон, в синей щетине, с серьгой в мочке смуглого уха, подошёл вразвалку к Николаю, неся впереди себя толстое пузо, и протянул ему на ладони окурочек. Николай, с мокрым лицом, глядел и не понимал. Он уже забыл, зачем та пляска была.

Да! Вспомнил. Окурочек из руки вожака взял. Кто-то заботливый уже огонь поднёс. Николай стоял посреди площади и курил. Жадно курил. А мы все молча смотрели. Узники. Цыгане. Я, барачный хирург.

Зачем я тебе эту байку рассказал, про окурочек? Чтобы ты лучше, сильнее поняла, что такое чувство. Пляска та вихрем всех людей захлестнула. И на миг сделала всех нас — свободными. Свобода, это же как вино! То Райское вино. Девчонка, пастушка, его не допила. А я допил. А Николай тот окурочек плясовой — докурил. До полоски бумаги. До последнего вдоха. До конца.

Вот и я, дитя, жизнь докурю до конца. Я не курильщик. Я просто так сказал. Не плачь.

Утрись углом простыни. Поплакать иногда надо, знаешь. Николай вон говорит: а то пересохнут слёзные каналыцы.

Я из всего пережитого сделал лишь один вывод: люби, даже если не любят. Прощай, когда бьют! На войне убивают врага. Убив, молятся за душу его. Чтобы там, на том свете, он, скитаясь по мытарствам, успел попросить прощения за содеянное и покаяться. И я, воин, чтобы у Бога попросил прощения за содеянное и покаяться. Бог для того и создал Мирь, чтобы мы эту истину поняли, затвердили. Покаяние — для всех. Не мни себя лучезарным праведником. У любого праведника есть тёмные родимые пятна и криво заросшие рубцы. И любой грешник может стать святым. Таков закон единства Духа.

Дух гуляет по материи, гуляет по сырому песку, собирает на берегу цветную гальку, рыболовецкие блёсны и окурки, пляшет на людной площади. Дух, душа и сердце едины.

А плоть? И плоть с ними.

Только человек выше плоти. Он чайкой парит над плотью.

Любовь есть всепрощение. Нынче я прощаю всех, кто меня замучил.

И легко мне. И светло мне.

А ты знаешь, я давно не видел врача Николая,

крестника моего. А ты? Ты видела? Что, что? Повтори, я не расслышал. Ах, на войну уехал? Говоришь, он ко мне заходил, а я спал? И он пожалел меня и не разбудил меня? Ах, жаль, жаль. Я бы напутствовал его. Благословил, обнял бы. К сердцу прижал. Детонька, дай руку. Положи сюда, на сердце. Слышишь, как бьётся? Ещё бьётся. Я ещё поживу на свете, да, да. Я вижу белые коски твои сердцем моим. Какая красивая ты! Что смеёшься? Я правду говорю.

НИКОЛАЙ

Меня послали на войну. Я воспринял это как счастье.

Всё под приказом. Все под приказом. Приказали — сделал. Мною распоряжались и раньше. И я исполнял чужую волю. Меня уже давно не удивляют приказы. Жить внутри приказа естественно: другого пути у тебя нет, если ты живешь в обществе. Если ты уходишь жить в пещеру — тогда другое дело. Ты ни с кем не связан. И с тобой — никто. Блаженство? Сомнительно. Человек без другого человека — дикий зверь в лесу. Человеку нужен человек.

Я собирал пожитки в вещмешок, и вдруг засунул руку за пазуху и нашупал мой натальный крест.

Врач Алексей, что же, благодарен я тебе. Да и себе немного. Себе — что отважился. Тебе — что не отказал. Какой священник откажет мирянину в крещении? Да никакой.

Раннее, светлое утро. Все хорошие верные дела совершаются утром. А все тяжёлые, печальные — ночью. Человек умирает ночью. Да и рождается — ночью. Ночью рожала Душенька. Стоп. Не вспоминать.

Я надел сапоги, шинель, взбросил на плечи вещмешок. Дора стояла у причала, я знал. Спуститься до пристани от барачков — раз плюнуть. Пять минут.

Надо зайти к Алексею. Попрошиться.

Он в лазарете. В палате. Совсем слепой.

Я учусь молиться. И каяться. Мне было очень трудно встать на колени. Но я встал. Перед иконой, в нашей с покойной Душенькой комнате висят иконы, она сама повесила. Я встал на колени перед иконой Богородицы, не знаю, как

называется, у Богородицы много имён, я знаю, и попросил прощения за то, что ослепил батюшку. Мы с ним дрались два раза. А третьего-то не дано. Батюшка сказал: третье сражение произойдёт на небесах, и не наше друг с другом, а Сил бесплотных, под предводительством ангела, или архангела, имя забыл, простое такое имя, битва, короче, с чёртом. Чёрт, Бог! Запутаться. Но я учусь различать. Мне, главное, во всех этих божественных штудиях про врачевание не забывать. Алексей сказал: чем больше веруешь, тем вернее оперируешь.

Я много о чём хотел бы расспросить Алексея, но посторонних вопросов я ему не задавал.

Мне бы с самим собой разобраться.

А потом следующий шаг.

В коридоре лазарета стоял плотный запах вчерашних кислых щей. Я прошёл сквозь щи и толкнул дверь в палату. Все койки заняты. Коек не хватает. Люди лежат на раскладушках, сундуках, даже в лодках: с берега лодки рыбаки приволокли, на этаж заволокли и по углам палат рассовали. И больных в лодки кладём. Смех один. А вот нашли же выход. И тряпки необходимые отыскали, подстилать и укрываться. Человек букашка приспособляемая, всюду нужное найдёт.

В ближайшей к двери лодке проснулся мужик, сонно, бессмысленно поглядел на меня. Растревожил я его. Ничего, мужик, лежать не работать, выпиться.

Я подошёл к койке Алексея. Он спал. Сном праведника. Или младенца.

Спал и спал.

За моей спиной, я чувал, мотается на срубовой стене зеркало. Кривится, мигает, косо падает. Что за чушь! Нет, не оборачивайся, сказал я себе, не оглядывайся назад.

Было тут зеркало вчера? Не было? Никто не знает. А знает, не скажет.

А я на ту стену даже не посмотрю.

Я стоял перед койкой и смотрел на спящего Алексея. Он дышал беззвучно и ровно, ни сипов, ни хрипов. Так тихо, неподвижно лежал.

Как мёртвый, подумал я, и больше не стал об этом думать.

Так он сладко спал. Крепко. Я не смог его разбудить.

Не захотел.

Постоял-постоял ещё пару минут. Поклонился низко, до земли, рукой половиц коснувшись. Охватил глазами его спокойное лицо, запоминая. Повернулся и пошёл к двери. У двери остановился и тихо, не оборачиваясь, сказал:

– Спи. Я ещё вернусь.

И я вернулся.

Но сначала была война. И новая она как старая. Она всё такая же. Падают и умирают люди под потоками огня, под волной снарядов. Пчёлы пуль кусают тела, и человек, если не вытащить из него железную пчелу, умирает, затрачивая на этот процесс минуты, часы, дни, недели, неважно, здесь мы играем в игру кто скорее: хирург или смерть.

Война была всё такая же тёмная, чёрная, с огнями трассирующих пуль, с хищными бомбами и волчьими самолётами. Бойцы наставляли стволы зениток в небо. Истребители летели то низко, у самой земли, то резко и страшно взмывали в небо, растворялись в нём, и я терял их из виду. Прифронтной лазарет был набит ранеными, они лежали в коридорах на расстеленных шинелях. Лазаретной площади не хватало. Главный врач лазарета приказал немного прибраться в разбомблённой церкви, тут, рядом с передовой, и размещать раненых там. Так сделали. На обход я, после лазарета, являлся в храм. Приседал перед раненым, ошупывал его, прооперированного, оглядывал. Кому как везло. Кто шёл на поправку почти сразу после операции, у кого развивалось воспаление. Объяснимо. Цветущая антисанитария. Я просил санитарочек стирать белье в мутной речонке хоть золой, хоть щёлочью, хоть цветком мыльницей, но стирать, ополаскивать и отжимать. Иначе, я кричал, слохнем во вшах!

Бои шли тяжёлые. Я бы даже сказал, тяжеленные. То ли я от войны отвык, то она, матушка, перешла в страшную фазу. Перевязочная наша дымилась. Я тоже на перевязках, но, если нужен как хирург – всё бросаю и бегу к столу.

– Наркоз! У нас есть ещё наркоз?!

Чёрт, путаю ведь всегда, как этих операционных сестёр зовут. Галя, Глаша, Зина, Нина.

– Так точно, товарищ военврач!

– Эфир?!

– И хлороформ, товарищ военврач!
 – Так, ну...
 Огнестрельное. Бедро и плечо. Артерия перебиита. Плюс перелом. Большая потеря крови.
 – Переливание, сёстры! У кого группа крови первая?! Да ведь, чую, почти у всех?! Популярная кровушка... У тебя? У тебя?!
 Они, все три девчонки, согласно и испуганно кивали.
 – Отлично! Готовим трансфузию!
 – Ой, тащ военврач... нет, нет...
 – Кто сказал нет-нет?!
 Я орал как в лесу.
 Белокурая сестра, худенькая, плоскогрудая как щепка, в ужасе мотала головой.
 – Пока готовимся, конечность омертвеет... и начнётся гангрена... Сами знаете... Я...
 – Что ты предлагаешь?!
 – Ампутацию!
 – Шутишь?! Рука правая!
 – Если гангрена... ну вы сами знаете...
 Я, к сожалению, всё сам знал. Лучше, чем эта козявка.
 – Готовим ампутацию! Скальпели. Корнцанг. Пинцеты. Ножницы. Не швейные, чёрт бы вас, ножницы Купера! В том шкафу. Ампутационный нож! Распатор! Ретрактор! Нет ретрактора?! У него что, ножки выросли, он сам убежал?! Ага! Нашли! Пилу! Лезвие! Рашпиль! Кусачки!
 – Кусачки... не вижу...
 – Да вы ослепли! Вот!
 – Спасибо... простите...
 – Биксы с бинтами и марлей! Вату! Бельё!
 – Белья давно нет, тащ военврач... Вата – ещё есть...
 – Проклятьё!
 Раненый подал слабый, как из подземелья, голос.
 – Доктор!.. а что вы, это... ну... руку мне?..
 – Да! Отниму! Или помрёшь. Ни за понюх табаку.
 Белело лицо раненого под густой многодневной щетиной.
 – Правую-то... Да я ж теперь... да я же...
 – Баба есть у тебя?!
 – Есть...
 – Не пропадёте.
 – Так стыдно же... она меня кормить будет...

– Ещё неизвестно, кто кого... кормить... Глянь, боец, рука-то твоя скапустилась. Посинела. Как зимородок. Не могу тебя такого эвакуировать. Сепсис в пути явно начнётся. И поминай тебя как звали.

Солдат глядит на меня полными слёз глазами, и мне как по воздуху, как воздушно-капельная инфекция, передаются его слёзы.

– Так нельзя сохранить?

– Нельзя, дружище.

– Ну... давай... кромсай... перебыюсь как-нито...

Жгут. Нож. Разрез до кости. Раненый дикими, круглыми глазами смотрит на нож.

– Доктор... эй... погоди, повремени... уже больно страшно...

– Не страшнее жабы или змеи, боец.

Эфирная маска на его перекошенном от страха лице. Сёстры льют эфир. Я стою и жду.

Ну, всё, уснул. Если проснётся – заорёт на весь лазарет, напугает всех.

Нет. Спит.

Вот теперь работай, верный скальпель.

Сестра, блее снега, ухватила щипцами кость, я пилю. Я дровосек. Я ещё могу на это всё смотреть и во всём этом ковыряться, скажите спасибо.

Вижу, сестра вот-вот в обморок около стола грянется. Этого допустить нельзя.

Сосуды перевязать. Нерв усечь. Всё как по-писаному. С моих действий хоть учебник пиши. Алексей был написал. Чёрт, у него же есть рукопись, в сундуке хранится, в бараке, он же мне сам сказал. Называется, вот чёрт, забыл. А, вспомнил. «Операционная техника военного хирурга». Если он умрёт, надо найти и сберечь. А потом издать. Чтобы люди читали, врачи. А то узники сожгут в печи, примут за растопку.

– Сестра, сестра! Жгут ослабляем! Так!

Второй сестре кричу:

– Зина! Дай ей нюхнуть нашатырь!

– Я не Зина, я Нина.

– Да чёрт с тобой, Нина!

Спыхватываюсь. Я, крещённый, чертыхаюсь на каждом шагу. Непорядок. Кошунство. Я не хочу быть кошунником.

И впервые в жизни, да, вот так она, чёртова жизнь, сложилась, шепчу себе под нос, пока сестра протягивает мне зажимы, и я зажимаю мелкие сосуды, а кровь из артерий всё бьёт вверх, вот

они, маленькие красные фонтаны жизни, ещё зажим, ещё один, зажмём всё, что кровит, тогда можно бойца и в дорогу, а в это время шепчу, шепчу, я и слов-то таких никогда не знал, а вот поди ж ты, говорю их теперь, будто знал всегда:

– Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, прости и помилуй меня грешного.

Когда перевязываешь прооперированного человека, будто бы готовишь его к торжеству. К свадьбе. Вот тебе белый марлевый праздничный костюм. Да ведь младенца тоже обворачивают белым. Пелёнки. А мертвеца? Саван же тоже белый. Везде вокруг нас зима. Вечная зима. Не выбраться из снегов. Но снега это жизнь, и только вечные снега это смерть.

Наложил повязку. Устал как конь на пашне. Сёстры втроём переносят, кряхтя, спящего бойца на койку и облачают в его потную, просолённую, окровавленную гимнастёрку.

– Засучи ему рукав! Чтобы видать повязку! А вдруг закровит! Всех прооперированных собирайте в палату около кухни! Я ещё раз всех осмотрю. Главное, не пропустить гангрену!

– А кого-то мы тут оставляем? Или всех отправляем в город?

– Ну как вы считаете! У нас здесь лазарет! Первая помощь! А их в городе по госпиталям рассуют!

Ночь. Подводы стоят во дворе лазарета. Я курю. Наконец-то. Курить, это всё равно что на свадьбе пировать. Когда у меня будет свадьба? И с кем? Я после Душеньки не хочу ни на ком жениться. Была жена. Был сын. Где они теперь? Где буду я, когда меня не станет?

Всех наших раненых увезут. Куда? Где они будут, когда война окончится? Да ведь она не кончится никогда. Это всем ясно. Она может только утихнуть, а потом опять вспыхнет.

Выкурить эту папиросу, распоследнюю. Пачка, она не безразмерная. Я хочу вернуться на Острова. Туда, в мои бараки. Там слепой Алексей лежит в голой палате и смотрит внутрь себя. Больные говорят о том, о сём вокруг него, а он лежит и молчит. Иногда к нему приходит девочка-санитарка. Белокосенькая такая. Не заключённая, нет; наверное, чья-то дочь. Кого-то из офицеров, из начальства. А может, ссыльная, да взяли в лазарет санитаркой, пожалели. У людей много чего

строится на жалости. Любовь могут забыть, а вот жалость навалится и прошибёт. Насквозь. Девочка приходит к Алексею, садится на край койки, он говорит тихо, невнятно, еле слышно, а она слушает. Слушает этот дрожащий воздух, почти тишину.

В тишине звучит дальняя речь. Так говорит душа. Сердце так бормочет.

Докурил беломорину. Кинул бумажную измятую соску на землю. Как я сегодня устал. Не мышцы даже – кости болят. Боже! Помоги мне.

Я пошёл к начальнику лазарета. Надо было что-то важное сказать, весомое. Чтобы туда, на севера, хотя бы на время отпустили.

– Товарищ начальник, хочу отпроситься, мне к родне съездить надо. Бои в нашем квадрате утихли, сами видите.

– К какой такой ещё родне?

– На Север, в Кемь. Потом на Острова.

– На Острова? Эх вашу родню куда занесло. Мать-отец там, что ли?

– Да. Отец.

– Ну... что же. Оформлю вам отпуск в виде длительной увольнительной. Попробуйте только не вернуться.

– Я вернусь.

– Слово держите. Это война.

Бумагу заимел, вышел. Пошёл по жизни. Машина. Город. Вокзал. Поезд. Дорога. Тряско. Страшно, когда бомбят. Война, да, ты бесконечна. Тишина очень маленькая. Она живёт у тебя в кулаке, война, а ты всё крепче, сильнее сжимаешь безжалостный кулак.

Ехал и спал. Ехал и всё забыл. Ехал и приехал. По земле пылающим платком, вышитым золотыми цветами и малахитовыми травами, раскинулось лето. Тундра ликовала. Странной, немислимой казалась война отсюда. Я переправился на старой скрипучей доре на Остров и шёл по травам, и мне казалось, я шёл по Райской мураве. О траве, цветах и яблоках в Райском Саду рассказывал мне Алексей. Он видел Рай, а я ещё нет. Он слабо улыбался: ты веруй, и однажды увидишь.

Не видел, не видел, а вот нынче увидел! Настоящий Рай. Высокое бледное небо, и лёт чистый золотой свет, светом нежно землю целует. Море

затянуто серой шёлковой рябью, тихо плещется, прозрачное, цвета слезы, земля им, морем, тихо плачет и смеётся. Цветами усыпана вся тундра, россыпи самоцветов, скань на окладе травной иконы, вся земля чудотворными очами глядит из цветочной вышивки, смешались перлы, изумруды, эти, синие, как их, сапфиры, да названий самоцветов я не знаю, я обнаружил, я много чего не знаю в том тайном участке жизни, что ведаёт настоящей красотой, нежностью и любовью. А вот Душенька ведала. Да Душенька сама была отсюда родом! Из Рая! Да она здесь и осталась; никто её из чудесного Рая не изгонял. Она тут, она его навечная Душа. Везде она. Ступлю шаг — ландыши возле сапога: она. Ступлю другой — глядят на меня из-под куста огромные стрекозиные оранжевые глаза морошки: она! Ягодой меня угощает! Ступлю третий — выпорхнет из-под ног пятнистая тяжёлая куропатка, взовьётся в синеву, то ли собакой лаёт, то ли девчонкой хохочет! И я поднимаю глаза в синеву, и меня обдают кипятком радости синие радужки: она! Глядит на меня! Так иду, и Рай двигается, шевелится, вспыхивает, бьёт прибоем, идёт вдаль и вперёд вместе со мной.

И опять же, первый раз в жизни шёл и молился. Своими словами. Ну да ладно. Пускай. Чьими угодно. Мне это всё в новинку, но вот тянет! Ощущение, как у алкоголика: тяга. Нет, это я грубо сказал. Больше похоже всё-таки на любовь.

Люблю, и тянусь, и иду, и стремлюсь, и опять люблю. Вот так бывает.

Шёл-шёл, и упал в траву. На спину. Руки раскинул. И так лежал. И в небо глядел.

А в небе медленно, торжественно плыли громадные, величиною с целую жизнь, облака.

И я лежал. И облака плыли.

И что мне было делать, как не шептать первую мою молитву, не улыбаться, не плакать?

— Многих я разрезал и сшил... а многие умерли, не спас. Господи! Помоги мне! Работать, жить! Дышать! До последнего дня. Всю кровь мою людям отдам. Это значит Тебе. Ты же ведь и есть все люди. И всё умение моё. И всю мысль мою. Острую, как скальпель. Не постыжусь перед Тобой. Всё как можно лучше буду делать. А война, что война. Она идёт и пройдёт, Господи. И пусть начнётся потом, опять. Выживем! Солдат наших вылечим. Врага одолеем. И смерть одолеем. Она

первый враг. А если не враг? А если смерть не враг, Господи, тогда...

Я обрывал шёпот. Вдыхал всей грудью цветочный, ягодный дух тундры. Земля источала жар и холод. Изнутри земли медленно поднимались робкие ростки, я слышал, как растут цветы и травы. Облака падали на меня с небес мощными снеговыми горами, и я закрыл глаза. Губы продолжали шептать, а что, я уже не помнил.

Я боялся, когда шёл в лазарет. В ту палату. Мне сказали: батюшка ослеп полностью. Дохтур слепенькай напроць, и силусек лисаецца, хоросо, Николаюска Петровиц, прибымси, зывова застали дак.

Да. Боялся я этой палаты. Боялся Алексея. Боялся слепых. Боялся прошлого. Призрака Душеньки боялся. Того, другого, третьего боялся. Чёрт, я так-то ничего не боялся, я пуганный, стреляный воробей, это не страх, что-то другое. Не могу назвать. Порог переступил. Боялся зеркала. Ну да, зеркала. Это странно, не могу объяснить. Двойника. Мне казалось, Алексей мой двойник. И что он меня всё это время, все эти годы, после того, как я стрелял в него, а угодил в подушку, там, у врага в логове, на войне, да, всё это время он меня незримо сопровождал. Маячил у меня за спиной. Иногда я ловил себя на том, что вполголоса разговаривал с ним. Когда приходилось оперировать сложного больного. Или когда тяжело на душе было. Так тяжело, хоть волком вой. Я не выл, а с ним разговаривал. Не признавал этого сначала. Когда понимал, что происходит, замолкал. Себя костерил. Смеялся над собой. Но это повторялось. Зря? Не зря? Зачем?

Вот приехал я сюда. Приехал. Сто земель преодолел. То ли на побывку, то ли с войны удрал, дезертир, но как же удрал, начальник меня отпустил, и бумагу подписал. Двойник, говоришь, сам себе говорю, двойник! Чай, мы не в детской сказке живём. Во взрослом мире, и чёртов взрослый мир весь передрался, перещарапался. Ну что, Алексей, встань передо мной, как лист перед травой.

Ахти мне, не стаётъ нонце батюско, помирати ноценькой станеть.

Переступил порог палаты. Медленно к его койке шёл, как хромой.

Подошёл. Лежит. Неподвижно.

Вытянулся под простыней, как мраморный. И вдруг улыбнулся.

Я гляжу и вижу: не он лежит, а зеркало.

Койка зеркало, и человек зеркало, и весь воздух палаты вокруг койки и вокруг меня — зеркало.

Вот он дышит. Ещё дышит. Это я дышу. Ещё носом сопит. Спит. Это я сплю. Незрячая глазница уже рубцами кожи грубо, уродливо заросла. Затянулась. Это мой выбитый глаз еле зажил. Вот веко целого глаза дрогнуло. Это я, я сейчас другой глаз открою. И ничего не увижу. Ничего.

Смерть. Это смерть. Она отражает жизнь. Так всё просто.

Не надо сокрушаться, выть и причитать, отчаиваться. Так суждено. Отражаться. Отражать.

Зеркало плыло и уплывало лодкой. Плыла лодка койки в небеса. В чудеса. Я закусил губу. Алексей спал и улыбался во сне. Он меня почуял. И отразил.

Я стоял. Точнее, лежал. Сейчас я проснусь, потянусь, встану и на самого себя одним глазом весело погляжу.

Что с его рукой? С плечом? Загипсовано. Перелом? Я не знал. Кто сломал? Зачем? Упал? Избили? Порезали? Вывихнули? Пытали? Мы же не на войне. Мы на Родине! Вечная война идёт. Всех со всеми. Мы, народ, тоже путаем своих и наших. Нам кричат: враги народа! — ну мы и бежим с ними воевать. Худо это? Хорошо? Трагедия была, есть и будет. Но мы такой народ, что умеет радоваться и внутри страдания. Петь и веселиться и внутри отчаяния. Да, такие уж мы. Не сломать нас. Мы перелом моментом загипсуем. Срастётся.

Я ближе шагнул. Прямо передо мной, в живом зеркале, маячило, моталось лицо Алексея.

Он лежал неподвижно. Улыбался. Улыбка льдом застыла.

Неужели умер? И я не успел. Нет. Дышит.

Тихо дышит, еле слышно. Еле видно. Редкий вдох. Беззвучный выдох.

Сколько народу наш народ поубивал на войне, а сколько мы с тобой, отец Алексей, народу вылечили. Прооперировали и на ноги поставили. И опять на войну отправили. Тот, кто пережил, перешёл вброд свою смерть, уже герой.

И опять пошёл смерти навстречу.

Роды! Смерть! Да, так всё просто. Не надо слов. Одна кровь. Она льётся. Человек кричит. Не хочет умирать. Не хочет рождаться. Не хочет быть. Хочет — не быть. Ничего не хочет. А кто тогда всё это хочет за него?!

Алексей ответил бы: Бог. У него один ответ на всё. Богом за всех и вся отвечает.

Я теперь крещёный, и я должен верить, что это верно.

Я верю.

Но зеркало! Зеркало!

Оно сонно, невидимо висит, так чую, посреди палаты, на срубовой изжелта-карей, мощной сосновой стене. Корабельные сосны для сруба откуда-то завезли. С материка. На Островах сосны не растут. Говорят, раньше росли.

Скос зеркала, летит, кренится, дрожит. Я хочу его поймать, а то упадёт и разобьётся. Чистое стекло. Искрится алмазом. Да испод в чёрных пятнах. Амальгама старая. Потёрханная. Тает свет. Летит опять. Птица, и светится крыльями. Крылья широко распахнуты, всё отражают. Всё, что могут отразить.

— Я пришёл, — говорю тихо.

Я знаю, он меня слышит.

Только ответить не может.

Поддай мне знак, что слышишь. Поддай мне знак.

Мой двойник на койке пошевелился. Единственный глаз разлепился, открылся. Заросшая уродливой кожей глазница проваливалась внутрь черепа. Глаз глядел и не видел. Ни себя, ни меня.

А Бога? Бога видел?

— Ты пришёл, — говорю я Николаю. — Я ждал тебя. Я знал, что ты приедешь. Господь привёл тебя. Спасибо. Благодарю Тебя.

За койкой, за никелированной её спинкой с блестящими стальными шишечками, Он стоял. А может, это просто огромное зеркало висело на стене и нас отражало; кто приволок сюда зеркало, я не знаю, честно, не знаю, дитя моё, мне никто не сказал. Дитяtko! Как прекрасно быть отражённым. А зеркалом ещё прекрасней быть. Ты молчаливый, ты бесплотный. Стекланный? Нет. Ты серебрянный, и, чем дальше Время птицей летит, тем сильнее и бесповоротней ты обращаешься в свет. Стать чистым светом! Об этом все богосло-

вы, об этом все мудрецы. Я не богослов, не мудрец. Я просто врач. Но зеркало! Время. Это Время. Я всю жизнь отражал Время в видениях моих и возвращал его людям, вынимая из ямы смерти их. Пришла пора. Нынче Время отражает меня. И Господа рядом со мной. И ещё одного меня; второго меня; я приехал, чтобы стать мною, который уходит. Сейчас уйдёт. Порог зеркала переступит.

Там, внутри зеркала, отражений нет. Бог не отражает. Он вбирает. Он впитывает, пьёт до дна, обнимает, принимает. Прижимает. Всю жизнь твердил, кричал, шептал: где ты, любовь? А вот она. Вот — Ты.

Всё, что мы делаем на земле, всё единственно. Зеркальная поверхность — не поверхность. Она движется, шевелится, дышит. Скользит. Играет. Она живая кожа. Живой горячий, нежный, влажный, речной поцелуй Души моей. Вот её щека прижимается к моей. Да разве это смерть? Зря мы боимся смерти. Вспомни, как ты родился. Излились серебряные воды. Открылось живое жерло. Ты всунул голову в яму. Пошёл головою вперёд. Во тьму. В смерть. Страшно тебе было умирать. Но ты умирал. Ты шёл. И на войне так же. Ты идёшь вперёд. Бежишь. В атаку. Ты рождаешься. Тебя рожают. Рожает Мать-Земля. А может, Богородица. Она всеобщая Мать. Она всех младенцев родила. Не только Бога.

Всех людей. Это знание хранится внутри зеркала. В Зазеркалье. Наступает час, и об этом узнаёт человек. Слишком поздно. Каждый уносит последнее знание с собой. Туда. В свет. Свет дорого берёт за то, чтобы сиять: жизнями. Тут ничего не поделывать. Так устроен Мирь.

- Ты приехал.
- Я приехал.
- Вижу.
- И я вижу.

Слепоты нет. Она исчезла. Перед светом все равны. И люди, и звери, и слепота, и прозрение. Меня били, это значит, благословляли. Меня бросали за решётку, значит, отпускали на свободу. Всё отражает всё. Последний Приговор есть Великое Прощение, а Страшный Суд есть великая Брачная Вечера. Эй, за тобой стоит Душа моя, врач Николай? Душенька. Не отходи от койки моей! Видишь, я тяжело дышу! Это значит — легко! Видишь, не двигаюсь! На самом деле лечу.

Лица, лица, лица! Ты видишь Рай, Николай? Ты идёшь по Райской мураве? Вокруг нас Души Живыя. Непусти их. Запомни. Излечи. Всё больное хочет исцелиться. Дай новую клятву Гиппократу. Старую мы с тобой давали. Знаем. Новую скажи. Такую: да буду я зеркалом любой болезни и любого несчастья, происходящего с людьми на земле, всё отражу, всё вберу, всё прошу, всё излечу. Всю чужую боль обниму, от человека себе возьму, из плоти его боль вырежу, прочь отброшу, а вместо боли и ужаса в человека вставлю, вживлю свет. Свет! И да станет человек, мною излечённый, к жизни воскрешённый, зеркалом Света!

Что... что, думаешь, неправду говорю... чушь несу... предсмертный бред...

Двойник мой! Милое зеркало моё! Где Душенька наша? Наше зеркало? Где её дитя? Оно, мёртвое, стало другими детьми, живыми, ныне живущими. Ты тоскуешь по ней? И я тоже. Перед смертью понятно, зачем она явилась, зачем любила и рожала, зачем рано ушла.

Мы гневаемся на смерть. Зря. Давай лучше поглядим в зеркало.

Я, слепой, увижу там...

Я, зрячий, увижу там...

Давай поглядим в зеркало. Зря мы гневаемся на смерть.

Перед смертью понятно, зачем Душа явилась в нам, зачем любила и рожала, зачем рано ушла. Ты тоскуешь по ней? И я тоже. Где Душенька наша? Наше зеркало? Где её дитя? Оно, мёртвое, стало другими детьми, живыми, ныне живущими. Душа. Милое зеркало моё! Двойник мой!

Зеркало на стене наклонялось всё сильнее.

Два пространства являлись вокруг нас. Одно вымышленное. Его не было никогда и быть не может. Однако вот оно есть, здесь и сейчас. Наша мечта, наше вечное недостижимое счастье. Второе настоящее. Сидят в палате лазарета пряжи, прядут время. В северных нарядах, в холщовых юбках, в красных понёвах. В белых снеговых, вышитой строчкой живой крови, фартуках. Рукава засучены до локтей. Руки грубые, ловкие красны. Прядут. Наклоняются вбок, взад и вперёд. Приноравливаются к движению, струению, к бегу быстрой нити. Пряжи! Вечные бабы-пауки. Вечные Арах-

ны. По полу клюква болотная щедро рассыпана, босые пряжи ходят и стопами давят ягоду. Алые пятки отпечатываются на скоблёных дожелта, чистых половицах. Там, далеко, на дальней стене палаты, на брёвнах старого сруба, висят ковры. Они вытканы усердными пряжами. Люди ходят по палате, нянечки, доктора, узники, рыбаки, начальники, операционные сёстры, их фигуры сливаются с шевелящимися вдали цветными пятнами ковров. Ковры, цветочное покрывало земли! Вами была укрыта земля Райского Сада. И вот вы здесь. Во смертной палате. Как хорошо! Ближе я вижу пряж. Они сидят, трудятся. Веретёна быстро мелькают, жужжат. Ткётся нить. Нить пурги. Нить заполярной вьюги. А вон цветную нить выдернули безжалостно из полнощного мафория, из Северного Сияния. Что сильнее, Мирь выдуманный или Мирь подлинный? Выдумка теряется перед Истиной.

Двойной наш Мирь, и тяжела тайна Двойного, но мы в ней живём, и нам в ней жить и впредь. Трудно в лицо правде смотреть. Но ведь смотрим. Вон сияет посреди тьмы праздник, а вон в углу палаты горько, прижимая ладонь ко рту, чтобы не слышно было людям, плачет страдание.

Мы работаем всю жизнь. Ткём, прядём, кирпичи кладём, доски пилим, дрова рубим, хлеб сеем, в уголь подземный врезаемся, самолёты строим, по небу летаем. Мы работаем, а другие вкушают наслаждения. А невзрачная Арахна, паук бессонный, ткачиха в холщовой понёве всё прядут и прядут. Всё ткут и ткут. Ковёр нашей жизни огромен. Кто поручится, что именно твою, человек, фигуру вышьют вон там, в самом тайном, никому не заметном углу ковра?

Пряжи, они соревнуются друг с дружкой. Кто быстрее! Кто умелее! Кто сноровистей, ухватистей! Пряжа — тот же операционный кетгут. Иглу сюда! Я буду шить. Зашивать разрез на теле больного. И больной будет жить. А всего лишь тонкая нить! Откуда вы тут, в моей последней палате, пряжи? Я вас не звал. А, понял! Вы работницы Времени. Вы работаете на Время. Оно ваш хозяин. Оно вам платит. Ах, вы без денег? Просто так? Сами по себе? Вы нам, грешным, дарите ваше ткачество? Мерное, утомительное, сосредоточенное действие, монотонная работа, пряжа. Прясть

и прясть. Усердно. Молча. Не отвлекаясь ни на что. Гремит война. Убивают людей. Кричит народ от горя на широких площадях. Летят в воздух цветы и огни на великих праздниках. А ты сиди и пряди, пряжа. Гляди на веретено. Время тебя покажет, если нить порвётся. Отнимет у тебя единственную радость твою.

Грязь, масло, кровь, лимфа, зелень трав, сок морошки, ключевая вода. Жизнь не кончится никогда. Кончусь только я. Нет! Зеркало! Я отражусь. Я там останусь. В зеркале. Внутри.

Я много лет учился, чтобы овладеть искусством врачевания. Вот я умираю, и я не поручусь, дитя моё, что я мастер своего дела. Я подхожу к столу так же робко, как тогда, в тот день, когда мне, малыцу, лазаретному санитару, умирающий от пули хирург всунул в руки скальпель и промолвил: режь! Ты всё знаешь! Я никогда не хотел славы. Почестей. Залитых ярким светом залов. Заморских яств. Сладкой музыки. Дорогих нарядов. Я хотел овладеть хирургией так, чтобы можно мне было за руку человека, что одною ногой ступил на звёздный ковёр смерти, вывести оттуда, из царства мёртвых, обратно на землю.

А зачем? Зачем я их оживлял, всех людей?

Зачем за них во храме молился?

И молился перед сном, и поутру, и среди белого дня?

Затем, что земля — это небо. А небо — это земля.

Отражают они друг друга.

И кто знает, любимые мои люди, Души мои Живья, что там будет, за гробом.

Вот я скоро узнаю. Сейчас.

...вот я скоро узнаю. Сейчас.

Зеркало, его прозрачный призрачный скол, ледяной скол всё быстрее летел ко мне, всё ближе и любовнее отражал меня, и я понял: сейчас оно меня раздавит, а может, ударит, а может, со звоном разобьётся об пол, и меня ранят тысячи серебряных осколков. Я попятился, а отступать было некуда, зеркало было везде, оно дрожало вместо стен, плыло и крепилось палубой вместо пола и нависало надо мной вместо крыши, и я понял, крышка мне, и даже весело мне стало, краем сознания я по-врачебному думал, остро и скептически: так, схожу с ума, пьян, а вроде не пил, ни

спирту, ни браги, ни клюквенной настойки с приездом, да умерших помянуть, у начальника лазарета, — и все зеркальные стены, дальние дали содвинулись, тесно сжали меня, обожгли холодом, льдом, захлестнули солёным выюжным морем, я раскинул руки, пытаюсь отодвинуть зеркала, а руки мои свободно прошли сквозь стекла и амальгаму, вдвинулись в невидимое, и я обнял отражающий меня мир, обняв всё сущее, и узников, и войну, и весь родной народ, и Алексея, и Душеньку, и моего мёртвого сына, я стал одним объятием, радостным, прощающим, благословляющим.

Из глубины зеркал полетел на меня лик Алексея. Он приблизился ко мне, вдвинулся в меня, проник в меня, я сам не заметил, как я принял его, телом моим и душою вобрал его.

Я стал им. Он стал мною.

Умер.

Родился.

Я стоял в палате один.

Я лежал на койке один.

В палату вошла девочка, одна.

Белые коски белыми верёвками топорщились у неё над плечами.

Она ближе подошла к койке. Надо было что-то говорить. Не молчать.

— Дитятко моё, — тихо сказал я, — может, ты голодна? Попроси нянечку, она тебя покормит, на лазаретной кухне варили сегодня кислые щи. С треской. Утром треска, в обед трещочка, вечером трещица.

Девочка осторожно села на край койки. Я сверху видел её затылок. Косички мелко дрожали, будто она плакала. Но она не плакала. Опустила голову низко, до ключиц.

Я хотел погладить её по острому локтю, по плечу, по острой коленке под застиранным халатом, он велик ей был, не по росту, с чужого взрослого плеча. Я не мог дотянуться.

...а назавтра мне пришлось делать тяжелейшую операцию, вот я попался, с войны да как кур в ошип, раненого привезли, моряка, их сторожевик принял неравный бой с тяжёлым крейсером врага, много моряков могилу нашли в ледяном океане, а кто спасся, качался в шлюпке, раненый,

истекая кровью, тех рыбаки подобрали. Сюда доставили. Легенды о нас ходили; болтали языками: мол, в бараках-то, в лазарете, такие два хирурга, чудеса творят. Ну, чудеса так чудеса. Согласен. Вносят раненого на носилках. Два дюжих парня, крепкие поморы, брови хмурят, несут. На лицах у парней написано: не выдюжит. Ну, это мы ещё посмотрим, кто кого! Мы смерть или она нас! Дёргается раненый на носилках. Вопит.

— Бросьте меня! Бросьте! В море! Больно! Захлебнусь!

Портки порваны. Вместо ног красная каша. Он дёргает ногами, размахивает кулаками. Борется с невидимым врагом. На ноги сестра уже наложила жгуты. Парни подтащили носилки прямо в операционную, сгрузили раненого на стол. Операция срочная. Каждая минута дорога!

— Сестра! Грелки! Живо!

Нет. Не помогли грелки. Трясся. Дрожал. Чуть не плакал. Зубами стучал. Вместо правой ноги мясное месиво. Левая не лучше. Кости раздроблены. Обработать раны и загипсовать? Или обе ноги отнять к чертям собачьим? Что ты думаешь? Как поступишь?

А ты?

А ты...

— Марлю! Эфир!

Сон. Сон, это тоже зеркало.

Сон снится, зеркало отражает жизнь. Потустороннее зеркало.

Ты всё делаешь правильно?

А ты?

А ты...

Больной спит. А я не сплю.

И я не сплю.

Удалить повреждённую ткань мышечную. Костные отломки.

— Бинты! Гипс!

Гипс наложили. Роскошно всё. Просто здорово. Я прямо возгордился. А вот никогда не надо гордиться собой на операции. Плохо это может кончиться.

— Маску снимаем!

Сняли. И тут началось. Моряк бил кулаками. Будто в рукопашном с врагом сражался. Орал недуром. Загипсованной ногой пинал воздух. Бился в судорогах. Я, санитары, сестра держали его изо всех сил. Куда там! Он дёргался неистово. Как в

падучей. Санитары навалились ему на грудь. Руки ловили. Он одного парня в скулу кулаком саданул. Гипс весь во вмятинах, расплзается на глазах, как мокрая глина.

– Давление! Падает! Адреналин! Быстро!

Я сделал укол адреналина в сердце.

Сердце, я закрывал глаза и видел, как оно бьётся. Внутри человека, а как снаружи. Оно везде. На земле. На небе. Сердце, винный кровяной мешок, пьянящий кисет, корзина жизни, оплетённая смертными, смиренными ветвями. Красное паникадило. Тело человека живая церковь, вот почему церковь изобрели. Её строят, как бабы рожают. Церковь, младенец. Цветной, золотой, белокожий, деревянный, суровый, заполошно на ветру орущий всеми колоколами.

– Переливание крови!

Темнеет. Темно. Проклятье. Опять свет тусклый, как волчий глаз! Опять подстанция ток не даёт!

– Эй! Керосиновую лампу сюда! Кто принесёт?! Скорей!

И тут девочка вошла. Медленно и тихо. Она несла в руках горящую керосиновую лампу, держала высоко. Над головой.

Операция идёт. Операция падает. Рушится. В пропасть. Не спасти. Не удержать. И входит свет. Керосин горит, бьётся, тлеет. Разгорается опять. Вот так и жизнь. То затухает, то опять вспыхнет.

– Глюкозу! Спирт!

Девочка, белые коски, красный платок на лбу, тугой узел на затылке, стояла рядом с операционным столом, маленькая нянечка, высоко держала лампу, внимательно глядела, не на меня, не на больного, не на гипс и раны, а вперёд, в пространство, и мне казалось, оно в разные стороны расходится, растекается перед ней, и в пустой прогал можно войти и там идти, и прочь уходить, и больше никогда не вернуться.

Операция, зеркало жизни. Я отвел от керосиновой лампы слепые от боли глаза. В зеркале на стене я увидел себя. Нет. Не себя. Да. Себя.

Там отражался иной доктор: ряса до полу, белый халат на тесёмках у горла, резиновые перчатки, борода, седая, серебряная, тающий прибрежный лёд, круглые совиные очки, нательный крест поверх халата.

Врач Алексей.

Я.

Собственной персоной.

Там, в зеркале.

Я, батюшка Алексей, стоял у стола и оперировал, медленно вводил больному в синюю, как небо, вену спирт с глюкозой, а девочка медленно шла ко мне, приближалась, вот совсем близко подошла, поставила лампу на пол. Погоди! Постой! Пусть отразит тебя зеркало. Одно зеркало, другое, третье, множество их крутится вокруг тебя, они отражают друг друга и уводят тебя из моего Мира. Или меня от тебя; это всё равно. Красивая девочка, дитяtko милое! Нянька лазаретная! Острые локти! Крошки веснушек! Проходит мимо нас наше Время. Катят волны тысячелетий. Нам отпущен слишком маленький срок. Не успеваем мы сделать, что хотим. Только молимся: Господи, дай силы успеть хоть немного. Все люди раненые, и все мимо идут, и все навеки уходят. Кто в гипсе, кто на костылях, кто выздоровел, кто умер. Я отпою умерших. Я благословлю живых. А люди всё идут и идут, всё мимо и мимо. Ты поставила лампу на пол. Ты очень рядом. Слишком рядом. Ты глядишь мне в слепые глаза. Я зеркало. Погляди в меня! Там увидишь не себя: Время.

Прощай или здравствуй? Я не могу с тобой проститься. Нам нельзя прощаться. Я понимаю, прощание назначено. Но давай мы его отсрочим! Давай сами Временем станем!

Войди внутрь меня. Это не страшно. Ты тоже будешь отражать святое. Молиться без слов, лишь светом одним. Войди в зеркало! Не бойся! Переступи порог! Видишь, какое чистое, живое серебро!

Девочка, улыбаясь, освещённая снизу мягким, медовым светом керосиновой лампы, встала на цыпочки и крепко обняла меня. И я положил руки ей на плечи.

Мы, в темноте, подсвеченные сбоку и снизу вечным светом, стояли, обнявшись, и тепло жизни и смерти текло в нас большим и малым кругом кровообращения: так вращался в зеркалах Мирь, и так согревались мы внутри льда, тьмы, холода и безлюбья. Где ты, любовь? А вот ты. Рядом. Душа Живая. Душенька. Всё вернулось. Нельзя, чтобы не вернулось; невоз-

можно. Одно перетекает в другое. Далёкое становится близким и родным. Серебро старинной амальгамы, полнощный праздник, Сияние. Трепещет синий, зелёный мафорий. Мерцает паникадило Луны. Солнце горит торжественной иконою Знамение. Это сердце моё. Оно же и твоё. Скальпель, вот он, уже не надобен. Идёт хирургия Духа и сердца. Моё сердце Солнцем освещает боль и смерть, оно восходит в ночи, бьётся под рёбрами всех тюрем, бьётся во чреве будущей матери плодом, ищущим выхода. Земля беременна будущим. Мы будем с тобою, дитя, принимать роды. Не бойся.

Дай мне маску. Перчатки. Зеркало круглое надень мне на лоб.

Возьми в руки лампу. Выше подними. Свети мне. Свети.

Больной на операционном столе стонет.

Я набираю в шприц дигоксин.

Белокосая девочка наклоняется, подхватывает с пола керосиновую лампу. Тусклое нежное пламя бьётся сердцем за тонким закоп-

чённым стеклом. Будто в стеклянной длиннорылой бутылки, горит туманный, заоблачный золотой свет. Жёлтое вино. Далёкая позолота. Дальний рассвет. Девочка подворачивает винт, свет становится ярче. Она высоко поднимает лампу. С лампой в руках, высоко поднятой, подходит к столу, нежно смотрит на раненого.

Я слышу её тихий голос. Почти шёпот.

Почти выдох.

— Потерпи, милый, потерпи.

Елена Николаевна КРЮКОВА

родилась в Самаре.

Поэт, прозаик, культуролог.

Окончила Московскую государственную консерваторию

и Литературный институт им. Горького.

Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России,

Издательского совета Русской Православной Церкви.

Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010),

Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»

(2014, 2016, 2019, 2021), международных литературных премий

им. И. А. Гончарова (2015), им. А. И. Куприна (2016),

им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017),

премии им. С. Т. Аксакова (2019), премии им. Ф. И. Тютчева (2020),

премии журнала «Север» (2020), премии им. Н. Н. Благова (2021),

премии им. С. Сергеева-Ценского (2021) и др.

Публикуется в литературных журналах России

и стран мира (Франция, Германия, Болгария, США, Канада).

Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».

